

Сказки безбрежного Леса

— Антон Можаяев —



АНТОН Можаяев

Сказки безбрежного леса

«Автор»

2026

Можаев А. А.

Сказки безбрежного леса / А. А. Можаев — «Автор», 2026

Таинственная Зелёная Дама, способная пребывать во множестве времён и под разными личинами, жаждет завладеть силой древнего леса, для чего крадёт у нескольких избранных самое ценное - истории их жизни. Доктору Пригорку Даю, его помощнице Марго, а также друзьям Дождику и Чернику предстоит раскрыть секрет многоликой девы, судьба которой неразрывно связана с безбрежным лесом.

© Можаев А. А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть 1. Письма из леса	5
3	19
4	22
5	24
6	26
Часть 2. Сказка на ночь	30
2	36
3	44
4	51
5	55
6	64
Конец ознакомительного фрагмента.	73

Сказки безбрежного леса

Часть 1. Письма из леса

1

В дом на опушке леса, надо отметить леса не обычного, а безбрежного, въехала новая семья. Состояла она всего из двух человек – отца и матери. Хотя пока не удосужился их ребенок появиться на свет, и упорно досиживал положенный срок у матери под сердцем, или над мочевым пузырьком – это как посмотреть, они всё равно уже называли друг друга мамашей и папашей. Прямо как дети, играющие в дочки-матери, которым натерпелось примерить на себя эти всем известные, но пока не доступные для них роли. Скоро-скоро всё случится и войдут они в этот блаженный и трепетный, непостижимый, а от того ещё более желанный мир взрослых. Будет всё как у всех, будет даже лучше – дай только срок.

Дом тот, как изнутри, так и снаружи, был завален жухлой листвой. Даже не прошлогодней, а какой-то совсем древней. И было её так много, что укрыло домик по окна, и только через верхушки стёкол изредка прощмыгивал любознательный лучик в эту до отвала наевшуюся осенним сором унылую лачугу. А может, не лачугу вовсе, а некую деревянную жабу. Рядом с безбрежьем всякое может быть. Стояла эта квакушка сыто порывивая, сонная, безлюдная – казалось, уж сотни лет ни души не водилось в ней. А в другой раз глянешь на неё – только недавно оставленная. Но будущему отцу, как и будущей матери было совсем недосуг гадать о том, из какого далека пожаловал к ним их толстопузый, занесённый кленовыми сугробами домик. Было б только то жильё крепким да тёплым, да чтоб никакие волны до него не доплёскивали – тогда б никакой печали больше в жизни не стало. Ты да я, да крыша над головой. Да маленький.

И пахло от домика не разложением, не гнилью, а как-то тепло, по-осеннему пыльно, осеннею же солнечной, сухою умиротворенностью. А ещё старостью, но такой, где не было хвори, мук и разъедающих душу сожалений, такой, какой эта самая старость должна быть всегда – смиренной, понимающей, прощающей. Такой, какой видится она в юные безболезненные годы. Ах, всем бы дожить до неё, не старость, а награда!

Стали отец с матерью приглядываться, принохиваться к кучкам листвы. Должны бы гнильем стать, мерзкой трухой – ан нет, все свежо и чисто. Заходи по грудь, ежись от прохлады, отталкивайся ножкой ото дна и ну в полёт. Так и сделали. Нырнули, поплыли.

Как искупались они в хрупкой листве, вдоволь нахотались, наплескались, так вылезли и замерли в изумлении. Оказались они с ног до головы обсыпаны золотистой, искрящейся пылью. Прямо как неряшливые пчелы, вдоволь накувыркавшиеся в раздобревшем от щедрой весны одуванчике.

Весёлые и вертлявые, поминутно зацеловывающие друг дружку, словно прошедшие в разлуке не один год, они взялись за уборку. Им бы больше думать о работе, а не о том «какая же она красавица, зарозовели щечки моей голубки, так бы и расцеловал их!», или «вот он мой муж – сил в нём другим на зависть, руками умелый, головой кучерявый, ах, мотать бы его прядку на пальчик полжизни, а потом еще пол; молод он и прекрасен, как юный вяз, раскинул гибкие свои ветви, в которых укрыться бы мне вовек». А тому вторило мужнино: «прилетай невеличка, пусть крона моя примет тебя, и станет надёжным укрытием как от дождя, так и от снега, от любого ненастья, от палящего зноя, от голодного зверя», «сключу всех твоих мучительниц-гусениц, чтобы никто больше не объел твои зеленые перышки». А потом встречались они взглядами и не позволяли себе ни говорить, ни нежиться, ни даже прикасаться друг к другу – не вздорили они, нет, а стремились исполниться такой страстью и жадностью до прикосновений, поцелуев и разговоров, что вдруг начинали понимать мысли, через глаза передаваемые.

И не хотели они даже на мгновение смежить веки, чтобы вдруг ненароком не разорвать эту связь. И лился далее, уж не в слова облеченный, а чистейшей мыслью несомый всё тот же беззаботный счастливый щебет, а в ответ ему был шёпот обомлевшего от восхищения птичьей красотой вяза.

Имена у новоселов были Лунный Хвост и Пень. Лунным Хвостом свою дочку назвала Груша – её мать – по той причине, что не смогла добежать она до дома с той полянки, где промышляла ягодой, да так и завалилась посреди телушек и кур в ближайшем сарайчике. Там с трудом, но всё ж разродилась спустя тьму тьмущую времени.

Взволнованный петух, будто не человек родился, а проклевывался его собственный цыплёнок, всё мельтешил перед глазами, крутил щегольским хвостом, порой осведомлялся нервным побряхтыванием о том, как там дела у мамочки, всё ли хорошо, и скоро ли принесет своего человечка. Тут громогласных тельных коров да ежедневно поскрипывающих от натуги несущек было ему за глаза, но мало того, ещё и человеческая самка заявила со своими «Ох, мамочки! Ах, помираю!», чтобы тревожить сон честных животных. Крутился тот петушок и на закате, и при луне, веерком своим сдувая тяжкую испарину. Так и родилось имя Лунный Хвост.

С Пнем же вышло всё намного проще – отцом его был древобой, который ходил в открытый лес на своей уютной лодчонке на пихты и сосны. Опасное то было дело – охотиться на таких гигантов. Страхнет человека за борт набежавшая на кроны рябь, там и конец ему придет, как на дно погрузится, злодейскими корнями связанный.

В честь опасного промысла назвал отец сына Пнем. Почему ж так несуразно? Почему бы не дубом, не черноклёном, не ясенем? А всё потому, что, каким бы нелепым не казался пенёк, а не вытянешь его ничем, больно крепко в землю впивается, и на крючок не насадишь – ничего от вершка и выше у него не осталось – ни рта, ни глотки. А вот не мёртвый он совсем. Вглядишься так в листовенную пучину, а он еще, стервец, колосится росточками. Живой, и всё тут, – будто бурчит по-старчески, – никуда не денусь я, хоть зайцы грызите, хоть лоси глодайте, хоть древобой гарпуньте – вот вам всем! Переживу всех на зло, и буду таков!

Новый дом свой Лунный Хвост и Пень прибрали скоро. Листики, столь хрупкие, что тут же обращались в пыль, либо даже в листовенную пыльцу, утекали из распахнутых дверей и окон неспешными ручьями, ведь были они не радостными весенними речушками, а осенними, уж если хотите, под сенью зимы грузно несущими свои стылые воды мирными потоками.

Также нашли они в тот первый день в новом доме, помимо всего прочего, что осталось от прежних хозяев, ещё письмецо. Не в конверте, а так, обычный сложенный листочек с надписью: «Добро пожаловать!» Обещались друг другу прочитать – вдруг что-то важное предыдущие жильцы хотели сказать, но позабыли. Не прочитали. Тут новая жизнь начиналась, будущими радостями позвякивая, как рыбёшек переливающейся приманкой увлекая. Не до того им было.

Зажили отец и мать обычной, всё еще счастливой – ибо не о чем им было пока грустить – жизнью.

Вскоре появился на свет Дождик. Всё верно, в тот день шёл дождь, потому, по старой традиции, так и назвали малыша. Но Лунный Хвост подготовила для сына, когда тот подрастёт и спросит про своё имя, совсем другую историю. Чтобы было ему в жизни радостно и гордо слышать, когда будут другие его окликать. И не слякоть, не плаксивые тучки были тому виной, а нечто волшебное.

Так рассказывала через несколько лет Лунный Хвост своему милому Дождику: «Жили как-то пчёлки на небе. Хорошо им там было, тепло на солнышке и сытно. Собирали они пыльцу с одного облачка, несли к другому, прям как обычные пчёлы перелетают с цветка на цветок. А потом чернели те белесые клубочки, в хмурые тучи обращались, проливались дождем да молнией разражались и гремели-гремели-гремели, пока не выплакивали положенное. Но не

бойся, мой маленький, всё так и должно быть. Не со зла они это делали, а потому что так надо: кто-то плачет, а кто-то этими слезками напивается, кто-то палит, что есть мочи, а кто-то на лесной гари после пожарища в рост идет. Так хорошо новой травке и кустикам там, что уж все страхи свои мигом забывают.

Летали-жужжали полосатые, по делам сновали, облачка в тучки обращали, земле дождик даровали. И всё-то было у них хорошо, и мёд знатный у них выходил – звездный. Да-да, ведь пыльца на облаках была звёздная – ею звездочки каждую ночь сыплют. А дождик тот был совсем не простой – это сейчас нас обычной водицей поливает, – а тогда он был волшебный. Даровал он жизнь всему сущему, и родилось от него каждой скотинки по паре, каждого деревца с рощицу, каждой букашки с горсть. И жили бы пчелы себе на небесах и радовались каждому наступившему дню, собирали бы свой драгоценный мёд в огромный горшок, если бы не случилась беда. Однажды возвращалась с облачного поля отяжелевшая от нектара пчела, и была она так грузна, так неповоротлива, что задела горшок с медом. Пролился он на облака, которые вмиг наполнились сладким ароматным звездным светом, и хлынул дождь, какого не видел мир. Звёздный медовый дождь. Там куда падали его капли, вырастало по человеку. Так вытянулся целый лес людей, которые с тех пор зажили на земле в мире и добре. Ведь первые те люди были чисты и непорочны, как сам звездный свет, радостны и бескорыстны, как солнышко, что согревало на небесах пчёл и всех, кто родился по ту пору.

Что, мой маленький? Что случилось с пчёлами? Эх-хе... Загрустили они. Ведь весь тот мёд, что они так долго копили, разлился. А другой собрать было трудно – не одна жизнь ушла бы на это. И невесть сколько горя пришло бы в их небесный улей. Тогда решили они спуститься на землю и отыскать потерянное. Стали летать от цветка к цветку, от травинки к травинке, от деревца к деревцу, но не находили звёздного мёда. Ведь не знали они, что в наших жилах он тёк. Всё кружили и спрашивали каждого встречного:

Не з-з-знавал ли меда з-з-звёзд
З-з-заседатель из-з-з берлоги
Или з-з-звучный хор из-з-з гнёз-з-зд
Или з-з-зубр острогорый?
Брат-ж-ж-жучок иль з-з-змея полз-з-зучий
Кто из-з-з вас такой вез-з-зучий?
Кто з-з-заметил медопад?
Всем рассказ-з-зам улей рад!
Позовите ж-ж-ж нас скорее
Своих глоток не ж-ж-жалей
З-з-завиз-з-зж-ж-жите, з-з-замычите
Нас к себе вы приз-з-зовите
Обнаруж-ж-живши пропаж-ж-жу
Либо з-з-зловную покраж-ж-жу
Расскаж-ж-жите нам трудягам
Обез-з-здоленным бродягам
Где ж-ж-ж медово-з-з-звездный дож-ж-ждик
Раз-з-зразился, что полил?
Нам медок вернуть воз-з-змож-ж-жно ль?
Кто его так ж-ж-жадно пил?

Нет, мой милый, не выдали зверушки нашей тайны, хотя всё прекрасно знали. А вот безбрежный лес, завистливый старый негодник, нашептал отчаявшимся пчёлам, что повинна в преступлении земля, впитавшая капли того удивительного дождя, от чего понесла и родила

людей. Но сколько бы не кололи её жалами разозлившиеся букашки, сколько бы не наказывали за преступление, всё ей было нипочём. Ибо родила она последнего своего ребёночка, самого младшенького, самого умненького и удаленького и уснуть хотела на долгие века, ведь существа совершенней человека ей было больше не выносить, а потому можно и отдохнуть. Но перед тем, как заснуть глянула она на пчёл, сжалилась над ними и отослала к детям своим, которые были добры и справедливы как никто другой.

Прилетели пчёлы к людям, рассказали о своей беде. Сжалились над небесными созданиями мудрые человеки, взрезали себе руки, чтобы напоить пчёл звездным медом, но вдруг хлынул он прочь из ран, да не на землю пролился, а полетел в небеса, к тому, что тянуло их больше всего – к своим прародительницам, звёздам. Вытекла вся волшебная кровь. Осталась в жилах только земная, как у животных. С тех пор люди стали очень на них похожи.

А что же случилась с несчастными пчёлками? Понеслись они за своим медком, махали огромными, как у орла крыльями, но всё равно не могли угнаться. Ослабли и свалились с неба. Да так неудачно, что оторвались их прекрасные сильные крыла, остались маленькие обрубки, на которых больше не могли они долететь до небес, а можно было только неуклюже парить над цветами. Вернулись они к людям и просили прощения за свою гордыню, за то, что не смогли воспользоваться жертвой благородных человеков.

Решили тогда пчелы лететь в небеса так долго, как позволили бы ничтожные их крылышки. Долго, далеко, высоко, и еще немного выше, чтобы отломились они и разбились бы несчастные, глупые создания об землю. Ту самую, детей которой они уговорили на бесполезную жертву. Но люди, уже бывшие просто говорящими животными, все же не утратили сочувствия и просили небесный народец не улетать, а поселиться рядом с ними. Больно вкусен был их мёд, пусть не звездный, но самый обычный – цветочный. Пчёлы с радостью согласились. С тех пор остались они на земле, собирали с полей нектар и делали из него самый вкусный медок и одаривали им людей.

Вот поэтому ты и зовёшься Дождиком, сынок. Потому что ты у меня самый важный, как тот медово-звездный дождь, благодаря которому появились на свете первые люди».

В тот вечер, когда Лунный Хвост рассказала сыну эту историю, он всё никак не мог заснуть. Ворочался в своей кровати из явора и калины, как-то удачно отцовскими приманками из безбрежного леса выуженных и до лесопилки брыкающимися доставленными. Пели они ему, голосами обструганными, к человеческому уху приспособленными, пели о том, что нет никакой печали, все беды заберет сон. Лишь только глазки закрывай и будет тебе, малыш, добрая история. Все тревоги отступят, убоявшись чистых и звонких голосов благообразных дощечек. Не станешь ты больше грустить о пчёлах, так глупо потерявших свое самое главное сокровище – звездный мёд. Спи!

Послушался Дождик ласковых призывов, уснул и видел сон, в котором он был тем самым первым человеком, у которого помимо красной животной текла ещё и звездная кровь. В этом сне он умел летать. Вот диковинка, скажете вы, каждый в грёзах летун. Нет, не по велению мечты, не от фантазии взмывал он в небо, а только ночью, когда ясно светили звёзды. Они тянули его к себе. Он поднимался в ночную высь, пролетал мимо обомлевшей от неслыханной дерзости луны, мчал всё дальше и дальше к маленьким пламенеющим звездочкам. Которые уже не были столь малы, а становились всё больше, ярче, горячее, пока не сливались в бескрайний, вышитый самоцветами, ковёр. Он сгорал в их жарких объятиях – исчезал Дождик, и всё что оставалось после него – так это тот самый волшебный мёд.

С первыми лучами солнца проснулся Дождик, радостный и выспавшийся – всё-таки хорошие песенки пели явор и калина, но осталась от сна какая-то занозка. Грусти, что ли, надежды на то, что не вся волшебная кровь вылилась в небеса, а осталась самая малость в людских венах. Стоит только подумать, вспомнить, как это – лететь на зов древних прародительниц, так заново воспаришь к ним, как тогда, давным-давно.

Жизнь шла своим чередом, где-то плелась скучная, однообразная, где-то ошалело мчала, что не остановишь её, не утихомиришь. Незамеченные, словно замаскированные под недели, мимо прошмыгнули годы. Пень ходил на берег леса, закидывал удочку, тягал из подлеска зайцев и фазанов. Лунный Хвост плела из льна и сказок своим мужчинам рубахи и штаны, из ивы и вздохов гнула корзинки, подсаживала грустью щи, начиняла сладкой надеждой пироги, обсыпала их звонким смехом и подавала к столу.

Дождик подрос и уже ходил с отцом на рыбалку. Правильней бы переименовать её в «зверобалку» либо в «зайцужение», но оставим известное всем название как есть, хоть рыбы выходило тогда совсем немного. Ручейков и озёр в лесу было мало, поэтому карасей и окуней попадалось всего ничего, в основном шёл мелкий зверёк и неосторожные любопытные кустики.

– А почему лес безбрежный? – спросил как-то отца Дождик. Говорил он шёпотом, чтобы не вспугнуть прикормленных лисичек, радостно квокающих уже совсем близко с берегом.

– Не знаю, – также тихо отвечал сосредоточенный Пень, – может, потому что у него нет берегов.

– Но мы, – не унимался настойчивый сынишка, – сидим на его берегу. Если бы он был на самом деле безбрежным, то мы бы сидели на его дне, а так мы на берегу.

– Эт верно, – согласился отец, и ничего более не ответив, попыхивая исходившей липовым дымком веточкой, продолжил следить за зелёной гладью.

Дождик не стал допытываться, а решил оставить этот разговор до завтра.

Ночью, разглядывая бессонную луну, он размышлял об этой загадке: отчего же всё-таки лес безбрежный, когда всё совсем не так. Родителям будто бы не было до этого никакого дела, но ведь в этом, как он чувствовал, и была сокрыта великая тайна, разгадав которую...

На большее Дождика не хватило. Не успел он даже предположить, в чем же там была разгадка, как глаза его предательски сомкнулись, и тело его, уже не земное – тяжелое, животное, совершенно не приспособленное для полетов, а невесомое, сотканное из ночной дымки, то, в которое переселяется каждый мальчик, лишь переступив порог страны грез, тут же, как и каждую ночь, воспарило к звёздным пламенеющим небесам.

На следующий день отец сидел на том же самом пне, что и вчера. Пень на пне – смешней не придумаешь! Сидел он закинув удочку в изумрудные заросли, такой же сосредоточенный как и всегда, ничуть не отличимый от себя вчерашнего или позавчерашнего, или позапоза..., позапозапо... Да уж, Пень был таков – укорененный, непоколебимый, верный себе, за что и любили его жена и сын.

– Так что же с лесом, па? – как бы между прочим проблеял Дождик.

Отец хмыкнул, делая вид, что не понимает, о чем речь, затянулся неизменной липовой веточкой, но отвечать не стал. Он так всегда делал – бурчал, ворчал или хмыкал что-то невразумительное, а потом ждал, что вопрос сам собой рассосётся. Но любознательный сынок не собирался сдаваться.

– Ну, паааааа!

Па потрепал сына по голове, но опять не соизволил ответить, сделав вид, что разжигает потухшую «липью ножку», как он называл своё курение. Он растёр ароматную почку на ней загрубевшими от времени и работы потрескавшимися пальцами. «Ножка», весело стрельнув янтарной искоркой, вновь благоуханно зачатила.

– Почему лес называют безбрежным? – напирал Дождик, ничуть не собираясь отступать.

– Ээээх, – расстроено, но беззлобно протянул Пень, – никудышная нынче ловля! – Потом повернулся к Дождику уж было готовый ответить на вопрос, но тут дёрнулся поплавок.

Пень аккуратно взял удочку и, потеряв всякий интерес к бесполезному разговору, стал подманивать заинтересовавшегося зверька. Дождик надулся от возмущения и обиды, но отцу уже не было никакого дела до сына, больно необычная пришла «рыбка». Она не торопилась

заглатывать крючок, а всё ходила вокруг да около и будто игралась с неожиданной для себя погремушкой.

– Ну, я тебя, – проскрежетал Пень окаменевшим от натуги голосом и, дождавшись подходящего момента, подсёк. – Есть!

Действительно, на крючке что-то болталось. Это был кот, не худой домашний, с ласковой намытой мордочкой, вальяжный и позёвывающий, а животное дикое, со взглядом затравленным, обиженным, но грозным. Как же он негодовал, как бился и царапался, когда отец снимал его – понимал паршивец, что доигрался. Пришлось даже руки в рубаху обернуть, чтобы не разодрал до кости.

– Ну, сынок, как тебе улов? – с гордостью спросил Пень, держа в руках брыкающегося кота.

– Что мы с ним будем делать? – пробурчал Дождик. – Кошачьи котлеты лепить?

– Ну, зачем сразу котлеты, можно шерсти с него начесать и свитерок связать.

– Жалко кису, – неуверенно сказал Дождик.

– И то верно, – призадумался Пень. – Притом это не кот, а кошка. Пузатая какая... Похоже, что на сносях.

– Отпусти её, пап, – взмолился сын.

Отец причмокнул, перекатил веточку из одного угла рта в другой и резко встряхнул порядком подрванной рубахой. Из неё вывалилась очумелая от грубого, несносного и совершенно недопустимого обращения лесная пленница. Она была очень пушистая, но даже за этой её богатой шубкой проглядывал явно раздутый животик. Она отбежала подальше, с укором глянула на обидчиков и, прошипев на кошачьем языке что-то ругательное, скрылась в подлеске.

– Вот и порыбачили, – грустно, но опять же беззлобно сказал отец.

Его поддержал сын, так и не получивший ответа на свой вопрос, но удовлетворенный тем, что они сотворил доброе дело.

– Да, пап, так себе рыбалка, – он попытался показаться опечаленным, но это у него плохо получалось – ему просто было радостно, что они спасли ни в чем не повинную кошку и её нерождённых котят.

На следующий день отец и сын снова её заметили, крадущуюся вдоль границы леса и берега. Зачем бы ей так себя вести, подумал Дождик, резонно рассудив, что если она была напугана рыбаком, то не надо было бы ей здесь появляться. Но что-то тянуло её туда, где она чудом избежала гибели.

– Пришла, зараза, – усмехнулся Пень.

Дождик во все глаза смотрел на кошку, не веря, что такое вообще возможно.

– Но как? – задохнулся он от нахлынувшего удивления. – Мы же чуть не убили её!

– То-то и оно, что чуть. Если бы убили, вот тогда бы она на нас сильно осерчала, а если отпустили, значит что-то мы к ней доброе имеем. Вот она и почуяла. У будущей мамки нюх на добро ого-го-го какое. Ей помощь, откуда бы ни пришла – отовсюду приятна. Оттого и ходит она, вынюхивает – вдруг что-нибудь неожиданное перепадет. Ведь однажды уж было, чего бы ещё не случиться.

– Что? – выдохнул Дождик, не смея отвести восхищенного взгляда от кошки, делающей вид, что нисколько не замечает людей, и будто бы прохаживается по своим сугубо кошачьим делам. А то, что дела эти организовались ровно там, где вчера она чуть было не рассталась с жизнью – так это чистое совпадение.

– Мы ей жизнь подарили. Более того, не только ей, но и деткам её, то есть всему её кошачьему роду.

– Так не честно.

– Что нечестно? – не понял Пень.

– Мы сначала поймали её – это было зло, а потом отпустили – сделали доброе дело. То есть просто исправились. А значит, никакого доброго поступка мы не совершили, и ничего не засчитывается.

– Это ты в учебнике своем прочитал?

– Ну...

– Пускай там эта задачка и останется. Для жизни она не годится. Тут как вышло: мы от своего права отказались.

– От какого?

– От права сильного, от права охотника. По этому дикому закону и наша киса живёт, по-другому она в отличие от человека не умеет, и понимает, что я своих деток не накормил, а её карапузов пожалел. За то она благодарна.

Дождик на мгновение задумался, не в силах уместить в голове всё услышанное и совсем упустил момент, когда отец вытащил из сети, в которой хранил улов, перепела и кинул в кусты, туда, где прохаживалась пузатая кошка. Она сначала отпрыгнула, для приличия пошипев на потревожившую её птичку. А потом сцапала её и была такова.

– Вот же вертихвостка, даже спасибо не сказала, – выдал отец и захохотал, но не звонко, а как-то сдавлено, в полголоса, как если бы стеснялся своей радости и умиления. Все же не полагалось Пню быть весельчаком. Вспомнив об этом, он тут же посерьёзнел и вновь закинул удочку.

На следующий день вышло ровно то же: кошка пришла к берегу, уселась невдалеке, жалобно размякалась, прям разрыдалась, а потом, получив очередного перепела, как ни в чём не бывало скрылась с добычей в зарослях.

– Так она нас без улова оставит, – хмыкнул Пень, но опять-таки по-доброму.

Перепелка, как метко прозвал её отец, приходила к ним еще с неделю, а потом перестала. Дождик даже забеспокоился, не случилось ли с ней что-то.

– Случилось, – согласился отец, но без тени грусти, – окотилась. Вот и не дойти ей до бесплатной столовой.

Заслышав это, Дождик расцвел, ему нестерпимо захотелось увидеть лесных котят. Он решил во что бы то ни стало дожидаться того дня, когда Перепелка покажет им своих замечательных дочек и сыночков, дай им только время набраться сил. А в том, что покажет не было никаких сомнений. А как же не показать, когда Дождик с отцом стали им, считай, самыми настоящими крёстными.

В томительном ожидании прошла неделя, другая, затем третья. Никто не приходил. Отец все также беззаботно тягал дичь из кустов, изредка поругиваясь на обрывавшие леску невоспитанные, ершистые орешники. И как будто совсем позабыл об их старой подруге, которая обещалась заглянуть на огонек, как только малыши встанут на ноги. Не беда ли с ней стряслась? А вдруг всё неудачно вышло, роды совсем не задались, и уж давненько бедная мутноглазая лежит она на подстилочке, которую натащила к себе в гнездо. Или, где там лесные кошки родильную устраивают? А они тут, ни сном ни духом, живут по-старому, зверье удят, ничуть не встревоженные. Дождику не хотелось об этом думать, больно жуткие картинки всплыли. Всё у Перепелки будет хорошо!

В тот же день отец и сын услышали вой – далекий, тоскливый, угрожающий. Будто шел к их бережку отбившийся от стаи, а может, изгнанный за чрезмерную, даже волкам не свойственную жестокость, голодный озлобленный на весь свет опасный зверь. «Уходи, проклятый, – взмолился про себя Дождик, – не надо нам тебя!». Волк ещё немного повыл и затих, то ли притаился, то ли пошёл своей кривой дорожкой прочь от людского берега.

На следующий день пришла Перепелка. Худая, нечёсаная, нелизанная, с глазами чуть ли не теми же самыми мертвяцкими, о которых воображалось Дождику, но, видно, довольная – всё у нее получилось. И детки здоровенькие были, хоть пока не показывала, больно малы, и

сама она жива-здоровая, пусть и тощая. Видно, всю её выпили капризные сосунки, вот она и пошла по знакомому адресу, туда, где угостят перепелятинкой, либо чем другим вкусеньким. Дождик, не будь дураком, на такой случай носил с собой кусочек солонины, чтобы немедля, как заявится, предложить гостю. Так и сделал. Перепелка, выйдя уж на самый бережок, жадней обычного набросилась на еду, но, оприходовав угощение, никуда не ушла, а требовательно заурчала, нализывая лапку.

– Пап, давай мы ей что-нибудь подкинем, смотри какая она худая, ей отъедаться надо, – сказал Дождик, борясь с желанием подойти и погладить кошку.

– Верно, – согласился отец, – ей надо нынче много. – А потом, чуть пожевав свою неизменную «липью ножку», добавил: – как и нам.

– Как же это, – взвился Дождик, – всегда хватало, а сейчас не хватает?

– И то верно. Для трёх ртов в самый раз, а для четырёх уже мало.

Дождик не понял, о чем говорил отец, но только упросил его ещё разок удружить лесной знакомой, пусть в последний раз наберется сил, а там уже и сама выйдет на охоту. Так и сделали. Перепелка слизнула гостинцы, но, будто почуяв неладное, больше просить не стала, а благодарственно мяукнув напоследок, удалилась восвояси.

После она приходила не раз, но ничего не просила. За что большое ей спасибо. Иначе как смотреть в глаза несчастной мамочке, которой отказываешь в еде. Она поправилась, округлилась, ближе к зиме приделась в новую шубку, поплотнее да потеплее. А вскоре и вовсе привела выводок на смотрины.

Дождик не мог сдерживать радости, он бегал с котятками на перегонки, они – по кромке леса, он – по берегу, хоть и не подходили близко друг к другу – всё-таки мама-кошка не велела, – но тут же сдружились, потому что были они юны, бурлящим детством переполнены, и как всякие дети могли в миг понять друг друга и на том сойтись. Давай играть? Давай. А побежали туда, там такоооооооо... Побежали!

Котятки подрастали, уже совсем не боялись приближаться к людям, как, впрочем, и сама Перепелка, которая ближе к зиме отчего-то вдруг пересилив себя, а может не пересиливала вовсе, а давно собиралась, но стеснялась, взяла и подошла к безмятежно удыщему зверю Пню, обнюхала его прокопчённую липовым духом штанину и потерлась об неё ушком. Пень лишь мельком взглянул на ласковую животинку, хмыкну, как он это умел – мол, чего уж тут, всё ясно, всё понятно, и продолжил рыбалку.

Пришла зима, а с ней холод, мрак и волк.

Волк не ушёл, не стал искать счастье в других краях, а прибил к берегу, где жили Лунный Хвост, Пень и Дождик. А также Перепёлка с котятками. Не там же, не с ними рядом, но точно где-то поблизости, раз приходила всякий раз заслышав звероловов. Нынче она стала проводить всё больше времени у них под боком и уж деткам позволяла подходить совсем близко, и играть с человеческим котёнком столько, сколько влезет – лишь бы подальше от проклятого убийцы.

Однажды Дождик не выдержал и обратился к матери.

– Мамочка, позволь кошкиной семье поселиться у нас. – Голос его дрожал от волнения. – Плохое с ними может случиться.

Лунный Хвост бездумно погладила свой заметно округлившийся живот, но отвечать не стала, а всмотрелась куда-то вдаль, как если бы хотела распознать там нужный ответ.

– Ну, пожалуйста, мам, – продолжал канючить Дождик, – они там одни одинешеньки, а неподалеку поселился волк.

– Слышала, – прервала своё многозначительное молчание мать, – волк – всегда к беде. Но что нам с того? Твой отец зверолов, а не святой покровитель чащоб и полей. Нам самим о себе надо думать. Разве не помнишь, что скоро у тебя братик или сестренка появится? Хотел бы ты отнять у него кусок и отдать кошащему семейству?

Дождик знал, что другого ответа здесь, чем «нет, не хочу» быть не может, потому мать и задала этот вопрос. Но как же его подмывало сказать то, о чём он на самом деле думал. И мысль эта была жестокой, но честной: «что мне эти неведомые братья и сестры, которых я совсем не знаю, когда моим друзьям грозит страшная опасность». А потом сам себе же и отвечал: «но ведь маму и папу я тоже не знал, пока не родился». Так и быть, подумал он, ничего не попишешь. Мама непреклонна. А значит, всё останется также, как и прежде.

– Прости, мой милый, – вдруг смягчилась она, – но их слишком много, всех мы не покормим.

– Зачем их кормить, ведь они дикие коты, которые умеют охотиться. Они сами о себе позаботятся.

– Нет, мой медовый, звездный мой, всё не так. Животное на то и животное, что начини ему давать, оно непременно станет брать. Зачем же ему охотиться, когда его кормят и заботятся о нём? Только если для развлечения. Некоторых домашних кошек не заставишь обычных мышей ловить, не то, что б себе пропитание искать. Это только у человека заведено с совестью переговариваться, а у них такого нет. Особенно у котов. Те ещё проныры, эти твои Перепёлки. Но ты не оставляй их, раз так сдружились.

Дождик, возможно, впервые в жизни так сильно обиделся на маму, что с утра, быстро проглотив завтрак и не сказав ей ни пол слова, убежал к берегу леса, чтобы поскорее встретиться с котятами и их красавицей пушистой мамочкой. Но никто в положенный срок не явился.

Даже отец забеспокоился.

– Что-то бандитов со своей предводительницей не видать, – так он называл котят и их маму.

Не появились они и к обеду. Рыбалка совсем не заладилась, и уж решили идти домой, засобирались, когда из кустов показалась Перепелка.

Окровавленная кошка, с залитыми красным безумными глазами, со страшной раной на боку еле-еле ковыляла к людям, она что-то держала во рту, такое же алое, казалось ничуть ни живое. Добыча? Нет. То был один из её котят.

Перепелка подошла к самым ногам Дождика, аккуратно положила маленькое тельце и устало, болезненно, по старушечьи хрипло мяукнула. И означало это на любом языке, хоть на человеческом, хоть на кошачьем одно: спаси моего ребёнка!

– Кто же, – залепетал Дождик, – кто так с тобой...?

Пень, обычно беззлобный, тихий и умиротворённый, как-то вдруг посуровел, посерел и пробормотал себе под нос: «Волк!». Потом укутал мертвого котенка и его пока ещё живую, но смертельно раненную мать в рубаху. Так и донёс их до дома. Там развернули, увидели, что Перепелка издохла. Уж было собрался Пень снести их обратно в лес, ибо негоже отнимать у него то, что не добыто для пропитания, но вдруг ощутил, будто что-то шевельнулось в мешке. Прислушался – оттуда донесся слабый писк. Развязал мешок, а там, прижимаясь к мертвому окровавленному телу матери сидел живой, хоть и ошалелый от страха, облитый кровью своей защитницы, хилый котенок.

Назвали её, а это была девочка, Кровинкой. На этот раз Лунный Хвост была не против. Её так же опечалила трагическая история, приключившаяся с котовым семейством, да и совсем другие хлопоты настали для неё тогда. Она старалась навязать да нашить побольше для будущего малыша пелёнок и одежонок, к тому же не простых, но заговорённых, с самым сильным словом сплетенных. Слово то было о заветных мечтах шёпотом наговорённое, слезою умиления и надежды вымоченное да в терпении и труде настоящее. В общем, славные одёжки получились. Надень такие, и до старости не возьмет ни одна болезнь, никакой враг не подступится, дышаться будет привольно, ночью сон заберет сладкий, а день силами наполнит.

Похоронили Перепёлку, как члена семьи, на Поле Матерей – семейном кладбище, где лежала бабушка, прабабушка и прапрабабушка Дождика (возможно, и многие другие женщины их рода, но история об этом умалчивала). Потому и называлось оно Полем Матерей, что хоронили там только женщин.

– А где же все дедушки? – задал как-то резонный вопрос Дождик.

На что получил пространный ответ:

– Всех призвал лес. – Больше мать не стала объяснять, а вернулась за своё драгоценное шитьё.

Отец же, как выпал первый снег, всё больше корпел над чем-то в сараюшке, лишь изредка, по надобности, выходя на берег, чтобы вытянуть беляка-другого на ужин. Дождик также редко приходил в то несчастливое место, пусть и было связано с ним столько радостных воспоминаний. Началась школа, а потому времени совсем не стало. К тому же родители запретили близко подходить к ставшему вдруг опасным лесу, все же волк никуда не делся. А то и дело давал о себе знать, голодно и заунывно подвывая то тут, то там по границе укутавшегося белой пеной безбрежного леса.

2

– Зови Пня, – кряхтя и переваливаясь, как пьяная медведица, сказала Лунный Хвост, – обед стынет.

Дождик с охотой повиновался и рванул в сарай, куда обычно ему вход был заказан, но не тогда, когда требовалось позвать отца к столу.

Увлёкся Пень своей новой затей основательно, даже переменялся как-то, стал совсем скрытным, появилось в нём изрядно злости, хоть подспудной, но всё-таки приметной, которой он никак не хотел поддаваться, и для того с головой уходил в своё новое предприятие и там стругал, выпиливал, шкурил.

– Что это, пап? – спросил Дождик.

– Сынок, – откинув прогоревшую липовую веточку, с раздражением сказал он, – нельзя тебе здесь быть...

– Там мама к столу зовёт, – поспешил перебить его сын, – но, пожалуйста, расскажи, что ты делаешь?

Пень, притушив недовольство, глянул на своего смышленного, повзрослевшего сына, отломил новую веточку, растер почку и глубоко-глубоко затынулся. И вдруг подумалось Дождику, что так тяжко могут вздыхать только от накативших слёз, но нет – отец не плакал. Показалось.

– Хочешь знать, что это?

Дождик жадно кивнул.

– Лодка, – развел руками Пень. – Чтобы изловить волка, придется выйти в открытый лес.

– Но ведь он никому не мешает, воет себе вдалеке да воет. Не то чтобы мне жаль его, но ведь это опасно.

– Как же коротка детская память. И это, наверное, правильно.

– Всё я помню, – пробурчал вдруг помрачневший Дождик, – он Перепёлку с котятками убил.

– Всё так, сынок, убил. И мы на то мужчины, чтобы хранить верность как друзьям, так и врагам.

– Как же можно хранить верность врагам?

– Как друзьям, только наоборот.

Дождик, не удовлетворившись ответом продолжал испытующе глядеть на отца.

– Будь добр с домашними, будь рад друзьям, будь готов вступить в бой с врагом. Все просто, сынок.

– Ты уйдёшь, как только доделаешь лодку?

– Угу, – кивнул отец, – раз поселился он в наших краях, то уже не уйдёт сам, а будет только ближе подбираться, пока не станет на берег выплескиваться. Тогда совсем жизни нам не станет.

Дождик кивнул, ничего не ответив. А только с тех пор стал чаще заглядывать в отцовскую мастерскую, и всё слушал-слушал-слушал, как доселе скупой на разговоры Пень, помаленьку да понемножку стал выкладывать что было у него на душе. И не про одного лишь волка твердил он как заведенный, не про одну только предстоящую великую охоту заливал он, хоть и загорался при её упоминании ярче обычного, но про самое разное, да про то, о чём был не прочь послушать сын. А тот и рад был развесить уши, потому что оказался до этого молчаливый отец совершенно отменным рассказчиком, знавшим не одну увлекательную историю. Почему же он молчал всё это время, задавался вопросом Дождик, почему не рассказывал их? Видно, я просто не спрашивал, – с досадой отвечал он сам себе.

– Дело было так. Рассказывал как-то мне мой прадед, а было ему лет под триста... Да-да, не смотри на меня так, ничего не выдумываю, тогда жили поболе сегодняшнего. Так вот, рассказывал он, что был как-то в наших краях повелитель, людей руководитель, армий предводитель. Любили все его. Ну, как любили... Не бунтовали под его началом – и на том спасибо, а значит толковый был мужик. Голодом не морил, меру в сборах знал, войско в чисти содержал, а это значило, что под защитой всё хозяйство содержалось. Вот только что там за опасности были, в те мирные времена, – эх, комариные слезы, а не опасности: залётные разбойники на тракте начудят, так сразу разыщет их отряд злодеев и на плаху; либо повеселятся кабачные, перепугают честной народ, но и на этих управа быстро найдётся, подержат в колодках таких с недельку на площади – вот и образумятся бунтари.

Жили, в общем, тихо-мирно, если б не лес. Да-да, тогда он уже был безбрежным, хоть и совсем другим. А чем же отличался от сегодняшнего? Тем, что диким был, непредсказуемым. Вот так проходила сотня-другая лет, и всё ладно с ним было – мирный, покойный стоял, и люди, пообвыкшись, позабыв старые волнения, давай в глубь его захаживать, дорожки натаптывать, латочки отмежёвывать, зеленую молодёжь рубить, корчевать, сечь да ломать без спроса.

Осерчал тогда лес. Проснулся, и как давай накатывать на людские поселения. Горе в те дни пришло, смерть и страх. Стали задумываться люди о том, не уйти ли подальше от опасного берега. Но что их там ждало, на новом месте, никто не знал, потому решено было обратиться со слёзной мольбой к тому самому властителю. «Не покинь нас, отец родной, не оставь в годину смуты сердечной, когда мор и глад ступают по пятам, когда пришла в наш дом дикая напасть, зеленою волною затопляя амбары и унося скотину в прожорливые глубины мрачного леса. Защити от духа лесного, что мщением ведем, древней силою исполнен, что приходит по наши души. И не разбирает он где млад, где стар – забирает всех. Убереги нас от проклятия, от чудища, и избавь наших детей от участи быть пожранными смертельным врагом».

Услышал тогда правитель страдальческий глас своего народа и созвал дружину, и сказал им: «Верные воины мои, братья, услышьте то, что скажу я вам, и примите в сердце своём сказанное, ибо болью и тоскою полнится душа моя. Нет мне сна, и думается лишь об одном – как уберечься нам от пагубы, диким безбрежьем несомой, как не загубить нам род наш на корню. Оттого спрашиваю я вас, славные мужи полесья: как быть – бежать ли нам, гонимым беспримерным страхом, чтоб в глубине бесплодных пустошей сокрыться, и жизнь провести в безропотном бесчестье, иль в безнадежный бой вступить, и дать отпор тому, что рвется из чащобы?»

И был правителю ответ: «Нет чести в том, чтобы бесславно сгинуть под натиском чумного леса, но старости позорной нам не надо, исполненной безмерным сожаленьем, и горьких слез грядущих поколений мы не потерпим. Уж лучше вовсе им не быть, чем дедов попорченную честь волочь им грузом омертвелым. Нет жизни более для тех, кто выступил на путь побега, прельщенный милой тишиной, с мечтой о мире и покое, – те мертвецы, и в мертвецах их

продолжение. Негоже пахарям и воинам, мужьям, отцам, ни сыновьям, ни братьям, бежать от повстречавшейся судьбы. Войдем мы в лес, и если надо, то сложим стену в тысячу вершков из павших воинов костей. Вперед, на бой! Пойдем во славу мы наших будущих колен!»

Порешали идти. Хоть и страшно было, но все же выступил отряд под предводительством славного властителя – не отсиживался он за толстыми стенами, а сам вперёд всех спешил на бой – дурной был, не чета нынешним. Так вот, зашли они в лес, а тот, как будто, и не враг им вовсе, и воды его отпрянули от берега. Всё по отмели шлёпали герои, и не повстречалось им никого, с кем бы можно было в бой вступить. Уж роптать стали, где ж то воинство проклятого безбрежья, которое не давало жизни, на битву с которым отрядились храбрецы? Не было его вовсе.

Меж тем настала ночь. Да не такая как на облюбованном людьми бережку – не яркая, огоньками озарённая, факелами и лампадками высветленная, а мрачная, до густоты черная, до черноты густая. Разбили лагерь там же на отмели, выставили часовых, запалили костры. Всё по науке. Но что древней зеленой громаде до наших мышинных премудростей... Все, кто бодрствовал, в раз уснули, а кто спал, тот и не шелохнулся. В миг погасли огни, и даже ветерок, что без устали гнал в высоких кронах волну, замер, словно приказу подчинившийся, либо заслушавшийся чудесным девичьим пением, которое прилетало на лёгких своих крылышках из далёкого далека.

Отошли от крепкой дрёмы храбрецы, также прекрасными звуками прельщённые. Двинулись они в ту сторону, откуда летела песнь. А подходя ближе слышали они её уже иначе – не ласковой колыбельной, не грустным напевом, а веселой застольной здравицей. И увидели трактир посреди чащи, хоть и без тракта, но с указателем подле, где явно по-человечески было писано: прямо – слепое счастье, налево – немая печаль, направо – глухая боль. Но про то, чтоб назад вертать ничего не было сказано. Переглянулись войны, вздохнули, три раза обернулись, и к счастью пошли. Раз званы на пирок, отчего ж не заглянуть.

Только властитель, войска предводитель смекнул, что неладно тут что-то было. Как бы не мутилось в душе его от сладкого тумана, как бы не хотелось ему со всеми вместе идти вперед, но воззвал он к братьям, умолял одуматься, повернуть назад. Не послушали его воины, молвя, что нет такого пути, а есть лишь к счастью, либо вокруг него с муками и страданиями. Мучиться и страдать никому не хотелось – уж отболело, а вот вперед ступить, да на празднестве повеселиться, дармовых угощений отведают они были не прочь.

Вышла к ним навстречу карга, росточком маленьким, уж к земле совсем пригнутая, как та пустая береза, что ослабевшими корнями своими не цепкая, всё норовит с бережка свалиться в пруд. Приветствовала их и в сени провела. Что дальше было, тому свидетелем предводитель не был, только слышал он, назад поворачивая, как взвились радостные голоса предавших своего повелителя воинов.

Вернулся предводитель, дум и печалей полон, в оставленный лагерь. Смотрит, а там все его воины мертвые вповалку лежат, и уже из плоти их проросли молодые ёлочки. Только его самого тело еще было живо, ибо дух вернувшийся чувствовало. Опечалился тот славный муж, и возрыдала душа его, святыми слезами уснувших навеки братьев окропив. Взметнулись те новорожденные ели в небеса, переплелись меж собою, прекраснейший дворец на разлапистом острове воздвигнув.

А что же наш благоразумный предводитель? Так не стало его – с горькими слезами вышел весь. Обезумела его душа от нестерпимого отчаяния и сожалений, не вошла больше в жаждущее воссоединения тело, которое в миг терновым троном обернулось, но поселилась в том прекраснейшем дворце навечно. Так и живет там. А называли люди этот остров – островом Сожалений. Ведь исполнилось то, о чем умолчал злосчастный указатель пред трактиром – повернувшему назад полагалось вкушать лишь горькое сожаление до скончания лесного века».

Дождик, слушавший историю с распахнутыми от удивления глазами, в конце тяжело выдохнул, как если бы сам там был и всё видел.

– А что же будет с тем, кто причалит к еловому острову? – спросил он, не желая отпускать уж было вернувшегося к своему прежнему занятию отца.

– Ничего хорошего, – был краткий ответ. – Заявись в гости к умалишенному, тогда всё сам прочувствуешь. А если хозяин не просто того, а ещё и призрак? То-то и ого-го.

Что означало это «то-то» и «ого-го» отец так и не объяснил. Но Дождик многозначительно кивнул, соглашаясь с мнением родителя, хоть понял из истории самую малость. А в голове родились кучи вопросов связанные с этим, как он его назвал «еловым королем»: кто эта загадочная старуха, и почему она позволила ему уйти, а потом поселиться в новом дворце; что приключилось с теми солдатами, которые остались пировать в трактире; как повел себя безбрежный лес, когда погиб отряд, отправленный на его усмирение? Да и местные, наверное, поняв, что защитники погибли, снялись с мест и ушли в пустоши. Но почему тогда нынешние полесы жили себе в мире, и бед от зелёной громады не знали? Дождик пообещал себе, что обязательно расспросит об этом маму, которая всегда была более словоохотлива, уж она доскажет недопонятое. Но так и не удалось ему спросить об этом. Уже было не до того. Вскоре отец доделал лодку и ушел в безбрежный лес. Вот так просто – одним морозным утром выкатил тележку, на которой покоилась лодка, сухо кинул Лунному Хвосту, что скоро будет и ушел, приказав сыну оставаться дома и ни в коем случае за ним не следовать. Зря он, конечно, это сказал.

Мать удалилась по домашним делам, чуть ли не в подпол спустилась порядка наводить, но Дождик точно знал, что пошла она туда поплакать. И также приказала сыну до той поры, пока сама не вылезет, не тревожить её. Дождику только этого и надо было. Он тихой сапой последовал за отцом, кряхтящим и толкающим по подтаявшему насту неподатливую тележку, пытаясь доставить свою новую лодку, надо отметить, оснащенную гарпуном, на побережье.

Уходя из дома, он не сказал на кого идет охотиться, но все и без того знали, что на волка. Того самого, что загрыз всё семейство Перепёлки, включая её саму, каким-то чудом, не добив её дочку, несчастную сироту Кровинку. Отговаривать отца от этого опасного мероприятия не имело смысла. Если он что-то втемаяшил себе в голову, то не вытрясет, пока не осуществит. Вот такой был Пень – тихоня, прилежный удильщик, лениво пожёвывающий пыхтящую дурманным ароматом липовую веточку, но как только случалась беда, то он тут же преображался, становясь чуть ли не героем из былых легенд, которому честь была дороже всего на свете. Но нынче не задетое самолюбие было всему виной, а самая настоящая беда, которая могла нагрязнеть в дом, если не подрезать её ещё на подступах.

Лунный Хвост не отговаривала мужа, пусть обмерла вся от ужаса, да бранила, хоть и про себя, но так, как другой кровного врага не расписывает:

– Дурень ты, злодей, Пень старый! Куда полез, когда жена на сносях? Ведь не доношу, и от страха выплесну, так куда потом бежать будешь, какой помощи звать? Вся вина на тебя ляжет, жестокосердного, и никаких слез не хватит, чтобы омыть запятнанную совесть. – Но внешностью своею никак не показала волнения, только удалилась, как и было сказано, с глаз долой, чтобы там вдоволь рассопливиться и не мешать тому, чему положено было случиться.

Как доплелся Пень с лодчонкой своей до лесного берега, так разразилась над безбрежием страшная буря, взволновались обросшие снежной пеной сосны, закрипели старыми суставами голые бесстыдники-дубы, а несчастные березки, более не одетые в зеленые сарафаны, стыдливо прижались друг к другу, прикрывая изящными ветвями пятнистые озябшие тела, моля злой ветер, чтобы не срывал он последние их осенние листочки и не стыдил их перед всем светом. Но глух был ветер и жаден, и силен, и в силе своей безумен. Подхватил он отчалившую от берега лодку, понес вдаль, но не успел унести прочь за горизонт, как вздыбилась над той белой волнующейся пеной серая волна – волк. Силы беспримерной, хоть был он одинок, но стал

сравним по мощи с целой стаей. Обрушилась рычащая громада на утлый чёлн, собою укрывая. Но был рыбак тот не из трусов, и вмиг ушёл из-под удара, ворвавшись в тыл растерянной волне. Навёл гарпун, и вмиг раздался заветный выстрел, но промазал! Лишь разозлил опасного врага, который развернувшись, помчал на Пня сто крат озлоблен. С собою нес он снег и ветки, и щепок ворох, лист со дна, подняв валы, каких не видел никто в краях тех мирных никогда.

Взвился изломанный загривок, блеснула пасть – полна кинжалов, и взгляд убийцы проступил на миг из серой мутной глади. Но перед самым тем мгновением, когда проглочен мог быть чёлн, во взгляде том читался ужас пред неминуемой кончиной. Отправлен в волка был снаряд рукой отчаянного мужа. Он прямо в грудь волне пришелся, и захлебнулась та волна бурлящей раскаленной кровью. И больше не было волнения на море том, и повернулся к дому счастливый чёлн, и Пень в нём усталый и довольный, махнул рукой от страха обмершему сыну, послушавшемуся повеления и ждавшему отца на берегу.

Великая охота тем ужасна, что не настанет ей конца, пока ответ не будет найден на самый важный из вопросов: кто жертва, кто палач?

На распоследнем издыхании, изгвазданный гнилою кровью, взлетел над лодкой храбреца тот окаянный мстительный убийца. И отнял ногу по колено вдруг зазевавшемуся Пню.

– Папа! – с диким криком понесся к лесу Дождик.

– Пенёчек мой! – выскочив из кустов заголосила притаившаяся там и наблюдавшая за боем Лунный Хвост.

Волной, пущенной в предсмертном раже серым волком, отослало потрёпанную лодчонку к берегу. Вся в крови она была, но благо не человеческой, а поверженного чудовища, и лежал на дне живой Пень, из последних сил кутающий в тряпье алую культю. Он победил своего волка, хоть и дорогой ценой обошлась эта победа.

3

Поползла, поскакала, полетела, закружилась прежняя мирная жизнь. Та же, да не очень – отчаянного героя держали исключительно в кровати, под одеялом да на пухе, да подальше от сараюшки, как бы он не бурчал и не брыкался, и не порывался допрыгать туда одноножкой и чего-нибудь там себе на беду посочинять.

– Я тебе посочиняю! – Наливался грозой взгляд Лунного Хвоста, которая и без мужниных глупостей была крайне измотана длившейся уже больше года беременностью.

В тот же миг Пень сникал, смирял мужское, да вытаскивал из запасников побольше мужниного. Пусть доносит маленького, не будет он ей наперекор идти, а там уж посмотрит, как культа затянется, чего с этим перинным житьем-бытьем делать.

Малыш совсем не хотел появляться на свет, видно было ему там хорошо и пригоже, раз сидел и носу наружу не казал. Но что бы не происходило в приселье, всё имело свой глубинный смысл, и всё было наполнено древней безбрежной мудростью. Даже если люди не могли понять её и принять, то всё равно требовалось проявлять смирение. Никуда не шло разумение человеческое пред лесным. А поэтому говорилось в народе по такому случаю: другая хозяйка не знает сколько у неё в погребке до весны припасено, и хватит ли дожить, и с голоду не опухнуть, а лес о каждом листочке печётся, каждую травинку на перечет ведаёт, со всеми зверушками по утру здоровается, всем деревцам перед сном песенку поёт. Вот он хозяин, на зависть всем – и строг, и добр, и богат.

Но что-то больно сетовала на нерасторопное безбрежье в последнее время Лунный Хвост. Больно хотелось ей разродиться, ведь уж и кроватка была сколочена, и полог над ней приделан со всякими резными висюльками, а жильца того домика всё не видать.

Лунный Хвост зачастила к праматерям на их недалекое поле, приносила дары, наливала рюмашку, поминала добрым словом, всё сердечное про них перед глазами воскрешала и молила-молила-молила бескорыстных заступниц, чтобы помогли по-доброму ребёночка наружу выманить. Тут же хвостиком прибилась за ней повзрослевшая, любознательная и строптивая, хоть не ласковая, но умная Кровинка. Носиком повела, кивнула распутившей нюни Лунному Хвосту, тем самым то ли подбадривая, то ли отчитывая. Мол, глянь, была у меня мамаша-защитница, окотилась наспех, как то и положено у нас, у мурлык. Хоть и жили мы тогда в самом подлесе, с бедою на беде и волчком за плечами, но ничего. А тебе и подавно не надо унывать.

Лунный Хвост, закончив молитву, погладила кошку, которая в кое-то веки не отпрянула от руки и не отказала хозяйке в ласке.

Всякое случалось в полесье, и по два срока носили бабы свои ноши, а кто и по три, но всегда с успехом разрождались здоровенькими детками. Но жила одна такая в стародавние времена, у которой всё никак не получалось понести. Что бы не делали они с мужем, не росло пузо. Уже и к бабкам ходили и вениками из безбрежных дубов в баньке охаживали, ими же окуривали, и другой зеленой снедью кормили, обкладывали, и стыдно сказать, чего только не делали. Но ходила та несчастливица пустая.

Как-то пошла она на Кострины, что среди лета молодые девки празднуют, хоть и великовозрастна была, но не удержалась, вдруг именно этого ей и не доставало для того, что б сдвинулось в нутрях её закоснелых что-то, и камень пустошей в черную земельку обернулся. Напилась она там до такого пьяна, что еле ноги держали. И пошла, печальями грузная прочь от весёлого игривого костерка – тошно ей стало рядом с молодухами притворяться, что и она такая же. По ним только любовным взглядом пройдишь какой молодец, так в миг радостным бременем обзаведутся. А что она? Сколько не пьался на неё, сколько не люби, не растают мерзлые пашни, не примут даже сорняка. Так и останутся стоять до осени неприступными и

одинокими, пока не припорошит их первый снежок. И тогда уж, может, полегчает – отболит душа, весны перехочется, и вся жизнь неряшливая под спудом старости укроется.

Дошла она раздрыганная, от слёз дороги не разбирая, до берега, где обругав весь свет распоследними словами, призвав проклятия на свою голову, а особенно на своё бесплодное лоно, кинулась во враждебные ледяные воды безбрежного леса, чтобы подхватили они её и унесли в неведомую глубь. Там станет она пропитанием для волков и лис, для коршунов и воронов, и хоть так, быть может, сгодится её пустое бесполезное тело для чего-то стоящего. Но не принял дара лес, не послал проглотов за угощением, чтобы разорвали они человека на кусочки – частью сами наелись, а часть унесли голодным деткам, а лишь укрыл пьяненькую покрывалом из прошлогодних листьев.

Стало вдруг той бабе тепло и ласково, весь хмель из неё тут же вышел, тёплом и любовью наполнились чресла её, будто самой жизнью омываемые. И понесла она в ту ночь, хоть не от человека, а от леса. Да от кого бы тот дар не пришёл, решила она, хоть бы от духов безумия и отчаяния, хоть бы от выбравшихся из курганов древних мертвецов, да пусть от самого зубастого зверя из самого захудалого неведомья – всем она будет рада.

Добралась счастливая баба до дома, а там, хоть мужа больше не обитало – ушел он от сухой лозы к другой, что поживее – стала жить совсем не по-старому, а стократ радостней, счастливая от мысли, что, наконец, станет матерью. Потянулись к ней, замечая какую-то благодатную силу, девки с бабами, кто пошущукаться, кто одолжить чего, а кто напрямую за ручку подержаться – авось смилостивится лесной дух, в неприятном лоне поселившийся, таким же благословением и их одарит. Так всё желаемое по женской части у них и свершалось – мужики в том селении стали вдруг довольные, как рыбацкие коты, ещё сметанкой через день поощряемые. И через месяц-другой все бабы в том селении, все до единой, кроме тех, кто еще были чересчур малы, понесли. Даже старухи, которые уж позабыли, что такое мужская ласка, и не одного внука вынянчили, также брюхами обзавелись.

Пошел слух, что всему виной была та баба, которая из лесу беременной вернулась. К тому времени её уже нарекли Матушкой, ручки обцеловали – живого места не найдёшь. Пока-лись в своём заблуждении, поняли, что не следовало якшаться с такой, ибо не благословение это, а лесное проклятье. И неизвестно, чем обернется подобный нечестивый союз, что же вылупится из того поганого яичка? Отослали её прочь, ушла она на утес жить, туда, где развалины древнего дозора стояли, за безбрежным лесом древним царем следить поставленные. Нарекли жители того селения несчастную уж не Матушкой, а Проклятой Матерью, и дальше жить пошли, дня рождения с трепетом ожидая. Но отчего-то все не наступал он. Вот уж девятый месяц промелькнул, за ним десятый и двенадцатый, а детки всё ни в какую не хотели показываться.

Вспомнили тогда о Проклятой Матери, пришли навестить её, но лишь для того, чтобы выведать, знает ли она что-нибудь об общем несчастье. Смотрят, а та сама всё ещё на сносях, знать не знает в чём причина и как перебороть всё это, чтобы избавиться от груза. Но предложила она всем испить отвару одной горькой травки, какую отыскала у себя на утесе, которая должна была бы выгнать засидевшихся переносков. Так и сделали. Опились бабы отваром, а на следующий день проснулись разродившимися, пошли по селу в поисках новорождённых, но страшное им тогда открылось: все, кто был в том селе мужского полу, либо дети малые – всех растерзанными нашли. А кто терзал и рвал, и кровью упивался, те вокруг стояли, матерей своих дожидаясь. Молвил лес голосами новых людей, с плотью древесной перемешанных, о том, что свершилось намоленное, проклятием призванное. И повёл он чудовищных отпрысков в объятья свои.

А бабы те, кто не наложил на себя руки от пережитого, поплелись омертвелые к утёсному дозору, чтобы увидеть Проклятую Мать.

Казнить ли шли, иль дать прощенье? Никто ответить не решался. Хотели только слово молвить, о наболевшем рассказать, а может быть прям там убиться, пред той, с кого проклятье зачалось.

Нашли её всё также грузной, в себе несущей леса плод. И обратились к ней с вопросом: чего ж сама отраву не пила? Ответом было: не посмела я умертвить возлюбленное чадо. Пусть не людского рода, пусть от леса, но все же мой, столь долгожданный. Его не брошу, не оставлю, хоть все печали в гости к нам. Но рада я, что вы лишились обузы тяжкой, всё бывшее прошло грозою, отгремело. Но отчего ж на ваших лицах противный жизни саван грусти?

Ей отвечали очерёдно:

Мы разродились этой ночью
Чудовищ страшных принесли
Детей от леса порождённых
Всех выродки пожрали тут же
Лишь матерям своим несчастным
Оставив жизни их пустые, от которых
Две трети в миг себя убили
Накала не стерпев самогладанья
Но видим мы, ты предала нас
Оставив чадо. Что ж, ты мать
Ты в праве полюбить любого
Хоть миру будет чужд малыш
Но внемли нам – не будет счастья
С проклятым выродком, плодом безбрежья
Прими отвар, в грехах покайся
И с нами в пустошь уходи
Там отдадимся мы молитве
За всех обманутых в мечтаньях
Тех, кто пошел на преступленье
Чтоб овладеть несбыточной мечтою.

Но Мать Проклятая, не внемля словам спасительным подруг, от ужаса, отчаянья и страха, с утеса сделав смелый шаг, в объятья леса погрузилась. На дно слегла в мгновение ока. Но там в полете разродилась дитём прекрасным, лучезарным. И в месте с матерью кометой он сверзся в сумрачные воды. И озарил он на мгновение бескрайние владения отца. И засиял весь лес безбрежный, приветствуя родную кровь. Но чрез мгновение зарыдал, завыл пожаром, вихрем жарким загромыхал и застонал. Будь человеком жалким, будь ты лесом, что оmyвает все берега, на свете горя не сыскать горячее, чем потеря любимого дитя.

4

Однажды беспокойной ночью, в ту пору, когда одолевали Лунный Хвост жуткие сновидения, и металась она в тяжелом забытии, пришла к ней в ноги Кровинка, повадившаяся так делать с определенных пор. А тут не просто пришла, но уселась прямо на раздутый от бремени живот. Лунный Хвост проснулась, отерла холодный пот со лба, и тут же подивилась странной картине: не в меру пушистая кошка, большущая, прежде совсем неуживчивая с людьми, лежала у нее на животе и мирно урчала, как любая другая. Но до чего же тяжелая, зараза!

– Кыш! – махнула рукой Лунный Хвост, но кошка только повернула в её сторону удивленную мордочку и недоуменно заморгала светящимися зеленою глазами. – Пошла, дура, ребеночка помнешь!

Кровинка не хотя поднялась, мяукнула напоследок, означавшее то ли

«сама дура», то ли «всего хорошего» и скрылась во тьме душной, полной кошмаров ночи.

Вскоре родилась девочка. Хорошенькая, глазастенькая, совсем не крикливая. Ничего в ней не было от тех чудищ из сказок, которыми пугала себя Лунный Хвост. Появилась на тринадцатом месяце. Нехорошее число, очень нехорошее. Нужно было просить защиты у матерей, и только потом давать имя. Иначе заберёт лес хрупкого человечка, возможно, для безбрежия и угованного. Без жертвы тут никак не обойтись.

Лунный Хвост так и сделала – через неделю, только оправившись от родов, принесла богатые дары на Поле Матерей, чтобы уберегли заступницы её чадо от напастей любого толка, а в особенности от нечеловеческих мытарств, от жуткого лесного проклятия, грозящего всем засидевшимся.

Отошла Лунный Хвост в сторонку, чтобы помолиться у Вечноплодного древа, но краем глаза заметила какое-то шевеление у алтаря, куда только что отнесла дары. Это была Кровинка, тайком следовавшая за ней, и сейчас поедавшая жертвенное. Лунный Хвост спохватилась, кинулась к алтарю, но было поздно, нагая кошка слопала всё преподнесённое праматерям.

– Негодное, – кричала после Лунный Хвост, выговаривая мужу, – проклятое создание! Как же она посмела есть жертвенное!

– Это же кошка, – парировал Пень, – ей что жертвенное, что нет – всё одно.

– Как ты можешь такое говорить! Из-за неё не случилось подношения, а это значит, что праматери не захотят вставать на нашу сторону, если вдруг лес заявит свои права.

– Лес здесь ни при чём, – отмахнулся Пень, – это наш ребёночек, человеческий.

– Никто не спорит, что наш, вот только лесу наплевать. Он берёт то, что ему заблагорассудится.

– Отчего ты так всполошилась? Ну, пересидело дитё положенный срок, бывает.

– Бывает, – буркнула Лунный Хвост, – а потом много ещё чего жуткого бывает.

– Побереги себя, не распляйся понапрасну. Кому-то же суждено было съесть подношения. Обычно этим занимаются вороны и чайки, а сейчас праматери избрали своим ртом нашу кошку.

На это Лунный Хвост ничего не ответила. Действительно, никто не возражал, когда дары с алтаря клевали птицы, считалось, что так заступницы получают своё. Но вот кошка? Это было слишком.

– И вообще, это очень странное животное, – не унималась Лунный Хвост, – оно – порождение леса.

– Что ты имеешь в виду? Чем тебе не угодила Кровинка?

– Хм, – фыркнула разъяренная жена, – твоя Кровинка выдавила мне ребенка.

Пень опешил от такого заявления.

– Что это значит? Как кошка может выдавить...

– Может, – перебила его жена, – недавно я проснулась от того, что она залезла мне на живот.

– Кошки такие, они любят понежиться.

– Кровинка любит нежиться? Это совсем не про неё! Я думаю, что её подговорил лес, вот она и полезла ко мне со своей лаской.

– Пусть будет так. Если от этого всем только хорошо, то ничего плохого я не вижу, – не выдержал Пень, начиная закипать, – оставим этот разговор до будущих времён. Вот случится что-то плохое, тогда и поговорим.

Это самое плохое не заставило себя долго ждать. Не прошло и месяца, как задохнулась у себя в кроватке новорождённая дочь Пня и Лунного Хвоста. Так и не нареченная. Просто маленький человечек, который и осознать-то не успел, что живёт.

Лунный Хвост, облачившись в траурное, после похорон прохаживая молчаливым мрачным истуканом ещё с неделю, выдала холодно:

– Это все она.

Убитый горем Пень, рассеянно поверчивая в руках незажжённую «липью ножку», что-то для приличия пробормотал, но его жене этого было мало.

– Это она выдавила моё несчастное дитя. Если бы этого не случилось, если бы не пришла она той ночью, и не села бы мне на живот, то все было бы хорошо. Я это точно знаю! Лес, этот жуткий, жестокий, безумный лес забрал мою малютку. А я не смогла помешать! – Лунный Хвост залилась слезами, заколотила себя в грудь, запричитав еще горче прежнего: – не надо было пускать его в дом, не надо было! – А потом, одномоментно успокоившись, сказала с холодной ядовитой злобой: – утопи её.

– Кого? – не понял Пень.

– Кровинку. Ведь она убила твою дочь.

Пень помедлил, не зная, что ответить, но все же сказал дрожащим голосом:

– Не она тому виной, а рок. Нечего тут развозить.

Но Лунный Хвост не отступала, и через пару дней вынудила мужа избавиться от кошки.

5

– Вот так-то, сынок, – объяснял Пень своё решение заплаканному, убитому горем сыну. И не умершая незнакомая сестрёнка была тому виной, а страшная судьба, ожидавшая его любимицу Кровинку, – не место ей больше в нашем доме.

– Но ведь она ничего не совершила, – молил Дождик, неотрывно глядя на стыдливо отводящего взгляд отца, – она ни в чём не провинилась. Это жестоко!

– Прости, сынок, но так будет лучше. И для нас, и для нее.

Дождик зарыдал в голос, вполне оправдывая своё имя – из глаз его хлынуло так, как не лило с осеннего слезливого неба.

– Дождик, ты чего? – как-то загадочно сказал Пень, и даже радостно подмигнул, будто обнаружил какой-то выход из неприглядного положения.

Дождик вытер слёзы и с надеждой посмотрел на отца.

– Ты спасаешь её? – спросил он, не смея верить, что всё разрешится без кровопролития.

– Конечно. Для чего же ещё нужен старый мудрый Пенёк. – С этими словами Пень удалился в мастерскую, где пробыл с пол дня, а потом вышел всё такой же довольный, но уже с погромыхающим деревяшками мешком за плечами.

Они отправились к реке, не забыв унести с собой Кровинку, которая стала совсем ручной и нисколько не сопротивлялась, когда Дождик брал её на руки.

– Мы же не станем её..., – спросил он в нерешительности, поглядывая на отцовский мешок.

– Нет, что ты! – запротестовал отец. Но больше ничего не сказал, а снял мешок с плеча, вытряхнул содержимое на берегу речушки, и принялся собирать заранее оструганные и подогнанные друг к другу детали.

Дождик непонимающе глазел на занятого сборкой отца, и даже порывался спросить, что это, всё-таки, означает, но вовремя прикрыл рот. Если отец пообещал, что худого не сотворит, то переживать не стоило. Дай только время, и всё встанет на свои места.

Это был ботик. Только с очень плоским дном, чтобы не смог перевернуться даже при сильном ветре или настырном течении. Коротенький, метр в длину, с маленьким, но самым настоящим парусом, сшитым из старой отцовской рубахи.

– Это лодка, – с восхищением и удивлением выдохнул Дождик. – Для кого?

Довольный проделанной работой, Пень кивнул на кошку.

– Для Кровинки? – чуть с грустью, но уже намного радостнее, чем прежде спросил про свою любимицу мальчик. – Но она ведь не может идти под парусом.

– Это ещё почему?

– Потому что она кошка, а кошки – не моряки. Что если она свалится в воду? Она ведь утонет.

– Откуда ты понабрался таких глупостей?

– Пап, это не глупости, а реальность.

– Реальность в том, что ты видишь только то, что хочешь. Вернее, не желаешь видеть того, что тебе неприятно или просто не имеет смысла. Взгляни. – Он погладил Кровинку по голове, взял в руки ее лапку, раздвигая пальчики.

Дождик пригляделся, и увидел нечто, до этого совсем не приметное – лапки были перепончатыми. Не как у лягушки, но с явными кожистыми перепонками между пальцами. Вот это открытие так открытие! Сколько времени прожила она в их семье, а он даже не удосужился рассмотреть столь замечательную её особенность.

– Это ещё не всё, – продолжал отец, – погладь её против шерсти.

– Кошки этого не любят, – засомневался Дождик. Но делать было нечего, отец знал, о чем говорил.

Дождик сделал так, как его просили и с удивлением обнаружил отростки на кошачьей спине. Даже не отростки, а вполне себе оформившиеся, хоть и маленькие, крылышки.

– Видал? Эта малютка та еще загадка.

– Она крылатая! – прошелестел еле слышно пораженный мальчик.

– Полу птичка, полу жаба, полу кошка.

– Только вот не получеловек. Иначе мама не стала бы ее прогонять.

– Твоя мама, если бы потребовалось, и с человеком расправилась не задумываясь. Ей сейчас очень трудно, мы должны ей помочь, – примиряюще сказал Пень.

Дождик не стал выговаривать всего того, что скопилось у него на душе, а спросил совсем о другом.

– А почему же ты не грустишь?

Отец на секунду задумался, оправил замотанную культю, и поудобнее пристегнул деревянный костыль, а потом ответил, грустно улыбнувшись.

– Так заведено.

– Кем? – тут же перебил его сын.

– Лесом, наверное, не знаю, – пожал плечами Пень. – А заведено так, чтобы мужчины оставались разумными, если происходит всякое.

– Почему же мы такие злые?

– Совсем не злые, Дождик. Мать на то и мать, чтобы оплакивать, а отцу нужно головой думать, хоть и самому хочется порой рассопливиться. И тогда не нарушен заведенный порядок: мать омоет слезами, а отец завернет в саван, на кладбище снесет, и дальше жить прикажет.

Дождик многозначительно кивнул, хоть ничего и не понял.

– Поставь на воду, – сказал Пень сыну, протягивая кораблик, – а потом посади туда Кровинку.

Дождик так и сделал. Кошка не сопротивлялась, будто была готова к такому повороту событий.

– Скажи ей что-нибудь на прощание, – посоветовал отец.

– Зачем, если мы никогда больше не увидимся? – зло процедил Дождик.

– Даже если так, все же, друзья достойны большего.

– Она не друг, а обычная лесная кошка. – С этими словами Дождик усадил Кровинку в лодку и палкой прогнал самодельное суденышко от берега. А потом зашагал прочь, ни разу не взглянув на невольную путешественницу.

6

С тех пор минуло много лет. Много их было для маленького мальчика, который, прожив их, успел обернуться сильным и красивым юношей, и уж детские годы казались ему далёким поблёкшим от времени, совсем ему не принадлежащим, прошлым. Особенно когда некоторые из этих годков промелькнули совершенно незаметно. Родителям же его всё было не почём – они ничуть не состарились, и почти нисколько не уступали в юности своему сыну. Только были уж не такие радостные, как годы и годы тому назад.

Пень смастерил себе протез из редкого янтарного ясеня, которого выманил из лесу совсем случайно, изначально охотясь на зайцев. Но попался такой выдающийся зверь, выстругав из которого себе новую ногу, Пень совсем позабыл, что родную отнял у него страшный серый волк, накativ смертоносною волной в тот ненастный день.

Была нога как живая, даже больно ей бывало, если саданешь, даже чесалась наподобие своей живой соседки. Оттого не было больше никакой нужды вспоминать старые печали.

Пень редко возвращался к прошлому, но не потому, что не помнил, а потому что хотел жить днём сегодняшним. Ведь если зачистить с оглядками, то, не ровен час, утопнешь в сожалениях и обидах. А так смотри себе новорожденными глазами на мир и живи, как по-новому хоть в сто лет. Оттого и не старел Пень, потому что не хотел.

Лунный Хвост же совсем по-другому стала понимать жизнь, особенно после тех страшных событий, что приключились с десятков лет назад, и после которых перевернулось в ней что-то. Ничего не отломилось, не отвалилось – всё было при ней. И даже любила посмеяться вместе с неунывающим мужем, но в один миг могла погрузиться в себя, и там с собою лишь наедине пребывая, проводила не один час, а то и в день не укладывалась. После возвращалась к мужу и сыну, всё такая же милая и добрая, но как будто исправленная. Казалось, что там, в этом её забытии, отматывалось в ней что-то назад, стиралось смелой рукой вся печаль, что нанесена была временем. А с той печалью, не смевшей показаться на пороге, отступали и года. Ведь что есть старость помимо телесного увядания? Не болезнь ли это души, вызванная печалью, сожалениями и страхами? Устрани их все, так и стареть незачем.

А как поживал Дождик? Он все ещё носил своё детское имя, и гордился им и умилялся ему, но был он уже возмужавшим, в меру строгим, хоть справедливым парнем. Он почитал прапращуров, любил и уважал родителей, был добр с друзьями, как учил отец, и ненавидел врагов, хоть таковых ему еще в жизни не попадалось. Ненавидел он их, больше заочно, так сказать, на будущее. Но что-то угнетало его в милом сердцу родном доме – то ли давно поселившееся в нём безвременье, то ли извечная тихая радость, не позволявшая проникнуть в их семью даже самой малой печали. А ему хотелось грустить, и поплакать хотелось, и, возможно даже поскандальничать. Вот только с кем и о чём? Не с вечно же блаженными, никакого зла не помнящими родителями. Только в школе он мог оторваться по полной, ощутить, что он настоящий человек, тот самый с животной кровью вместо звездной. Плевать на все эти сказки! Ему хотелось жить полной жизнью. Плевать на старость и смерть, что подстерегают таких лиходеев. На всё плевать – лишь бы не мухой в янтаре.

Но школа подошла к концу, как бы не было в ней весело, как бы не было трудно, и грустно, и порой даже страшно. А вот далее после неё уже ничего не просматривалось. Не качнись он куда-то в сторону, так и пошла бы его жизнь по старым тропкам: рыбалка с отцом, полная счастья и робких надежд стряпня матери, предзакатные посиделки за керосинкой, и так по кругу, пока и сам он не соблазнится родительским примером. Взбунтовался бы Дождик от такой мысли, как это водится у юного поколения, горячей кровью ведомого. Либо смирился бы убаюканный простотой и лёгкостью беспамятного бытия – то не известно, но вот однажды постучались в их дверь незнакомцы.

Это было ополчение. Но не с людьми призывали они бороться, а с организовавшейся неподалеку от прибрежных поселений волчьей стаей, которая повадилась затоплять села, обчищать скотные дворы, и даже на людей зариться, что не удосужились, либо не успели вовремя на крышах домов схорониться.

– От семьи по мужу, – отчеканил не в меру серьезный рекрутёр, – выбирайте сами, кто пойдёт.

Пень, разведя руками и застенчиво улыбнувшись, сказал:

– Что ж, я уже с этой напастью встречался, и даже побеждал, поэтому пойду сам.

– Нет! – вдруг вскричала не своим голосом Лунный Хвост. – Не пойдешь, не нашего это ума дело! – На лбу её ровно в тот миг проступила первая за многие годы морщинка.

– Правильно, мам, – поддержал её Дождик, – не вашего, а моего. Я уж подрос, поэтому пойду вместо отца. А Пню побережться надо. Много ли он на своей деревяшке пройдёт.

– Тут не на ногах ходить надо, а под парусом, – возразил отец, – мне там самое место.

И тут Лунный Хвост не выдержала.

– Будь прокляты двери дома, открывающиеся только затем, чтобы впустить смерть и уныние! Будь прокляты несущие в дом беду и гнёт, и благословенны те, кто бежит от зла, завидев его! – с этими словами она захлопнула дверь перед носом рекрутёра. Тот же, ничуть не удивившись, прибил извещение к двери и зашагал далее по своим рекрутёрским делам.

Лунный Хвост успокаивать не пришлось, она сама, как то умела, ушла в себя, а вернувшись будто вовсе и не помнила пережитого. Но только морщинка, вдруг появившаяся от нахлынувшего страха, никуда не делась, а осталась с нею навсегда.

На следующее утро, Лунный Хвост и Пень обнаружили, что сын их ночью пропал, а на столе лежала от него записка.

«Папа, мама, не волнуйтесь, не печальтесь и не бойтесь. Жизнь идет так, как ей и положено. Я повзрослел, и сейчас обязан защитить вас, как вы защищали меня. Вернусь тут же, как прогоним волчью стаю. Если вдруг задержусь, то непременно буду писать. Люблю вас, мои вечно юные, исполненные радости и жизни Пень и Лунный Хвост!»

От этого письма вылезло у опечаленных родителей по седой прядке. В тот день, с нечаянным тем страхом проникла в их дом старость и затаилась там в ожидании следующего раза, когда вновь будет позволено ей забрать своё. Такой день пришёл через месяц, как и обещал Дождик, с новым его письмом, отосланным из самого сердца безбрежного леса, в котором рассказал он о свершениях своего отряда, о потерях ими понесенных, о радостях и горестях, с которыми столкнулся юный воин. В общем, о том, о чем писали в подобных письмах все, когда-либо покинувшие отчий дом, и желающие приободрить оставшихся в одиночестве взволнованных стариков.

В первый год пришло ровно двенадцать писем, из которых осмелились прочитать родители Дождика лишь два. Всё потому, что старость, вдруг накинущаяся на них, больно обезобразила их юные и беззаботные лица. И здраво рассудив, что могут они не дожить до возвращения сына, а умереть от огорчений и страхов, вовсе перестали их читать. А, получив новое, просто садились вечерами у лампы, брали в руки заветный конверт и придавались мечтаниям о том, как же там счастливо поживает Дождик. И делалось у них на сердце легко и мирно, прям как раньше. И отошла старость – сестра смерти, дочь отчаяния и ужаса. И жили старики, в мире с собою прибывая, лишь чуть временем тронутые, год от года прогоняя от себя ненавистного врага.

Прошло много лет, чего там, – целая жизнь. Письма из безбрежного леса не переставали идти, но никто их не читал, а стопочками и горочками складывали их на чердаке. Взяли в привычку старики на каждом рисовать милейшую сценку, которую вообразили они из той выдуманной счастливой жизни своего далекого сына. Письма всё прибывали и прибывали, вот уж не по дюжине выходило за год, а по сотне, а потом и по сотне дюжин. Не вмещал уж чердак

разукрашенных радостными иллюстрациями конвертиков, начали складировать в самом доме. Вот только и дома стало мало. Высыпались письма из окон, стиснули завалинками покосившуюся хибарку. Только молодые и счастливые Лунный Хвост и Пень не хотели прочитать ни единого из них, как бы не противилось их родительское нутро. Но они точно знали, что голоса этого им слушать не стоило, потому что говорила им сама смерть.

Настал тот месяц, когда не пришло ни одного письма, хоть полагался их целый ворох. Взволновались тогда юные старики, а не принесет ли это с собой беды? И стали ждать. И дождались.

Из безбрежного леса вернулся их сын. Но был он уже стариком, хоть не дряхлым, не к земле пригнутым, но не стало того юного силача, дерзкого храбреца, что осмелился покинуть дом под покровом ночи. Так давно, что уж проще было бы сказать – целую жизнь тому назад. А рядом с ним стояла на порожке женщина, одетая во все зелёное. И будто не с ним она была, хоть и пригласил он её в дом, и вошла она, была мила и любезна. «Какая она у тебя прелестница!» – вздыхала счастливая мать, нежно поглаживая по плечу сыновью невесту.

Удивился тогда Дождик, что не читали родители его писем, но не обиделся, а только лишь порадовался, что так сохранились их молодость и счастье. И жизнь оттого была дана им беспримерно долгая. Много чего печального произошло с ним за эти годы, много чего ужасного, впрочем, как радостного, так и удивительного. И всё это могло вмиг состарить Пня и Лунный Хвост, либо даже убить. Слава духам леса, слава праmaterям, что так и не решились они на то самоубийственное чтиво!

Дождик ходил по дому, рассматривал картинки из чьей-то другой жизни, что были нарисованы на его конвертах. Не вскрытых, не прочитанных, не дошедших. Говорил, что завтра же выметет их все, а потом сожжёт прямо во дворе. Что прожито – то лишь пепел и зола, и должно быть по ветру развеяно. Но не суждено было тому исполниться.

Пришла ночь, и в той ночи разбудила наших юных стариков зеленая красавица, которая была в тот раз уже не прекрасной зеленовласой невестой, а затянутой в черный саван безобразной старухой. Она поманила Лунный Хвост и Пня, которым ничего не оставалось, как покорится всеильной обманщице. Они прошли за ней к берегу леса, где в мгновение ока обернулись теми, кем положено им было стать давным-давно – тенями отживших своё людей. Глянули с тоскою тени на старый свой дом, ворохом сыновних писем присыпанный и шагнули в воды мрачного, дарующего блаженное беспмятство безбрежного леса.

Не увидев поутру родителей, Дождик понял, что случилось то, чему следовало случиться много лет назад. Они ушли, радостные, счастливые своим выдуманным счастьем, ушли вместе, обманув старость, но не смерть.

Сжигать письма Дождик не стал, а лишь пришел на речку – ту самую, где с отцом отправили они в путь провинившуюся перед матерью Кровинку. Посидел там с часок, подышал речным веселым ветерком, на отцовский манер выкурил «липью ножку» и собрался было уходить, как вдруг заметил что-то на реке. Это была та самая лесная кошка, отправленная им и Пнем в дальнее плаванье. Но была она не одна – на корме маленького плоскодонного ботика рядом с ней сидели нахохлившиеся котята, похожие на неё саму, как будто были срисованы с матери.

– Здравствуй, моя милая Кровинка, – вздохнул Дождик, приветственно махнув ей рукой, – вот и дождался я тебя.

Кровинка спрыгнула на берег, за ней котята. Котики на ботике, вдруг пришло на ум Дождику, отчего он скуп, по-доброму, можно сказать по-отцовски рассмеялся. Кошачье семейство тотчас его поддержало и разразилось немзыкальным приветственным мяуканьем. Право слово, не отличишь у этих ребят, когда они рады тебя видеть, а когда просят есть.

Забегав в дом, котята кинулись, будто что-то знали наверняка, на чердак. Дождик от интереса последовал за ними. Там эти пушистые бандиты стали рыть лапками залежи древних писем, почти не отличимых от прошлогодней листвы. И нашли кое-что необычное. Это было

то самое письмо, записка от прежних жильцов, которую так и не удосужились прочесть Пень и Лунный Хвост в тот первый свой день в новом доме.

Дождик развернул листок с надписью «Добро пожаловать!», и увидел, что написано было его рукой. Говорилось там следующее:

«Читайте мои письма, молю вас, читайте! В них моя жизнь, не гоните её. Иначе меня в вас не станет. Иначе всё тщетно и пусто, и горько».

И больше ничего не было в том письме, ни подписи, ни даты, но он знал кто был автор этих строк. Он сам, и писал он их каждый раз, дойдя до тех пор, в которых пребывал в тот самый миг. И знал, что обречён писать их вновь и вновь. Поняв это, заплакал Дождик, и слезы его были чисты и прозрачны, как звездный свет, что даровал земле первых людей, как искрящийся в лунных бликах тот самый сказочный небесный мед.

В тот раз не стал писать Дождик письма. Пусть всё будет так, как тому положено случиться. Ведь не прочитают, как не старайся, как не проси.

Вечером пришла зеленая дама и увела Дождика, уже не старика, но мальчика домой, туда, где прожил он всю свою жизнь так и не признанную, нераспечатанную, но бесспорно радостную и добрую. А наутро в дом на опушке леса, надо отметить леса не обычного, а безбрежного, въехала новая семья.

Часть 2. Сказка на ночь

1

– Зачем ты воешь, Участь? – поинтересовался у своей собаки странник. – До обеда еще далеко, а ты уже нюни распустила, а ну соберись, подружка!

Участь жалобно заскрипела, но настаивать на раннем привале не стала, а просто веселей обычного, как это умела только она, заколотила хвостом о воздух и поковыляла дальше. Она была уже стара, поэтому разгоняться не стала, а аккуратно, будто была вовсе не животным, а обычной въедливой старушонкой, перешагивала со шпалы на шпалу.

На пустоши с гудящим сухим зноем навалился мертвенный безоблачный полдень. Ничего, кроме бесконечной железнодорожной ленты, разрезавшей её поровну, не просматривалось на многие сотни, а может, тысячи, километров в обе стороны.

Странник обернулся, глянул туда, откуда пришёл, присвистнул, чем очень смутил напарницу. Та завертела головой в недоумении, интересуясь не задумал ли хозяин вернуться.

Нет, не задумал, – был молчаливый ответ, – *не беспокойся. Знать бы куда возвращаться, тогда другое дело. А нет, так идем по намеченному*. Кто метил, зачем – это уже дело десятое. Просто улыбнись своему другу, и топай дальше.

Собака гавкнула пару раз, словно соглашаясь с такой его замечательной мыслью, но топтать дальше почему-то отказалась. Причем наотрез – уселась промеж рельсов на промасленную шпалу и часто-часто задышала, смачно сглатывая слюну.

– Ах, ты ж моя обжора, – махнул рукой на Участь странник. – Что ж, устраивайся поудобнее. Хотя тебя уговаривать не надо. Только упомяни про еду – и уже готова.

Участь облизнулась и поторопила хозяина нервным «вав!», мол давай уже, человек, заканчивай свою философию и делай то, что у тебя хорошо получается.

Странник так и сделал. Он не стал томить голодную собаку и приступил к охоте. Ну, если быть точным, то не охота это была вовсе – он никогда не держал в руках оружия, и убивать никого не хотел, да и не сумел бы, даже представься ему такая возможность. Его искусство было в другом.

– Был день как день, – начал он рассказ, чему безмерно обрадовалась Участь и еще сильнее заколотила хвостом о железнодорожный гравий, – таких дней в пустоши было немерено. Да что уж там, только такие и были – жаркие, безоблачные, изнурительные, пригодные только для того, чтобы доканывать несчастных путников.

Небо как будто сделалось еще голубее и, если это вообще возможно, яснее. Посмотри кто на солнце в тот миг и увиделось бы ему, что оно как-то даже округлилось, прибрав жгучую свою корону и натурально превратилось в то самое солнышко, которое рисуют дети. Не хватало только лучиков-чёрточек.

Странник, заметив природные изменения, удовлетворенно «угукнул» себе под нос и продолжил.

– Ни звука не слышалось вокруг, – продолжил он, – ни залетного ветерка, ни животного окрика, а только тишь, даль и глухая к человеческим мольбам пустошь.

Вдруг стало глухо, как если бы весь мир погрузился под воду. Кажется, и были звуки, но какие-то несурзные, тягучие.

Странник попытался что-то сказать, но у него ничего не вышло. Голос его был почти неразличим, потонул в густом гуле жаркого дня. Слова, сорвавшись с губ, не летели тут же в уши, как всего несколько мгновений назад, а переплетенные с другими доселе неразличимыми шорохами, постанываниями, бормотаниями и звонами тягучими струйками потекли в густом воздухе. Куда-то вдаль, но совсем не туда, куда отослал их рассказчик.

Ничего не поделаешь, надо было всё исправлять. Странник ухватился за наполненные смыслом потоки, изогнул их в том направлении, в котором изначально они должны были проследовать, но тут же одернул руки – больно колко. Свои же собственные слова причиняют боль, какой позор! Они должны ранить кого угодно, но не его. А вот видите, как бывает, когда расслабишься, либо возгордишься сверх меры, либо и то и другое, и уж не хозяин больше своим речам. Плавают, заразы, в мертвом мареве и никак их назад не загонишь, в нужные уши не направишь.

Странник, вновь попытавшийся было схватить непокорные словеса, только сильнее поранил руку, и больше не стал пытаться. Сел на рельс и принялся думать, как справиться с неожиданной напастью.

Подошла взволнованная Участь. Не отсутствие обещанного обеда было причиной её волнения – она беспокоилась за своего погрузневшего человека. «Вав» – проговорила она. Именно проговорила, потому что звук собачьего голоса настолько изменился, что стал похож на человеческий. На голос очень старого и взволнованного человека.

«Что ж, старушка, в беде мы, – про себя пожалился странник, но говорить не стал, а только обреченно развел руками».

– Убаааа-хаууу-ууаах! – разлилось в остановившемся воздухе басовитое, тягучее, и даже где-то inferнальное – в нынешнем его исполнении – гавканье Удачи. А может, и не гавканье вовсе, а ни много ни мало, камлание древней шаманки. И вот сейчас, стоит только усмирить непослушное дыхание, и притормозить взвившееся от возбуждения сердце, как сотворит почтенная карга нечто немыслимое. И спасет тем самым всё племя. Следите за руками, чудо на подходе...

Участь, опережая вылетевшие из её пасти лающие заклятия, ринулась на подмогу. В три прыжка она догнала отплывшие не так далеко от них человеческие слова, подпрыгнула и ухватила зубами за первое предложение. Бережно уложила на землю и прижала лапой, чтобы не смело упорхнуть, также поступила со всеми остальными.

Странник, взволнованный неожиданным спасением, бросился к Удачи, горделиво восседавшей на кучке пойманных слов. Даже не потрепал её, как было заведено меж ними, по голове, а прямо-таки обнял разгоряченную погоней милую подругу, и расцеловал куда пришлось – в обвисшее ухо, в поседевший лоб, в уж давно высохший черный нос. Милая подруга, не забывая лет своих, нутужно отдыхивалась, что в стылом воздухе превращалось в страшный предсмертный хрип. Она улыбалась во всю ширь своего черногубого, слюнявого, но по-щенячьи улыбочивого рта.

Странник по привычке проговорил что-то благодарственное, нежное и взволнованное. Эти хрупкие птички выпорхнули из него легко и уверенно, и тут же устремились в небеса. Пусть улетают. Участь, лишь глянув на трепещущие словечки, сразу поняла по их прелестному виду, что предназначались они ей, и были это благодарности и признания в любви. В ответ она издала не свойственное собачьему племени урчание, что больше подошло бы кошке, слезла с вибрирующей кучки пойманных слов и отошла в сторонку, позволяя хозяину разобрататься с непокорными частями речи, столь беспардонным образом прервавшими их обеденный моцион.

– Вот и все, – объявил своим обычным голосом странник. Звуки уже не замирали в воздухе, а лились свободно, хоть и преображенные. Заклинание, если можно его было назвать заклинанием, было немного подправлено, но не отменено вовсе. По крайней мере Участь, которой все эти осечки слишком дорого давались, была не прочь продолжить. Собака была чересчур стара для такой возни, и новых оплошностей могла не перенести. Поэтому она настаивательно ругнулась, чтобы человек впредь следил за тем, что говорит, и вообще вёл себя сдержанней и не кидался в опасные эксперименты. Так можно вовсе голодными остаться, если вдруг он сотворит очередную пакость, к примеру, пересадит задницу на место рта или отменит

воздух. А такое уже бывало – не про задницы, а про воздух. Чудом спаслись, выбежав из смертельного безвоздушного пузыря. Бездыханное ничто – так назвала тогда его для себя Участь.

В то время ей еще не разонравилось играть в слова, как и её хозяину. Она с удовольствием помогала ему придумывать новые словечки, которые они потом умело укладывали в волшебные сказки. Ну как помогала – сипло подлаивала. Хозяин всегда благодарил её за помощь, почесывал холку, угощал вынутой из воздуха копченой колбаской, хоть собачьего языка не знал, и принимал всё за игру. Что с него возьмешь, с глупого человека.

Вспомнив про колбаски, Участь громко сглотнула загустевшую в предвкушении давно обещанного обеда слюну и устала, не без обожания, но больше требовательно на хозяина. Тот, как будто совсем позабыл об уговоре холить, лелеять, любить, защищать, а главное кормить! свое старое, но ничуть не утратившее страсть к набиванию брюха животное.

– Ах, что б меня, – спохватился он, – сейчас-сейчас, мадмуазелечка.

Мадмуазелечкой он называл свою собаку только в том крайнем случае, когда полностью и безропотно признавал за собой вину и стремился задобрить оскорбленное невниманием несчастное существо.

– Сейчас мы полопаем, а потом потопаем, чтобы снова потопать, а потом опять...

– Ваф! – вежливо, но настойчиво одернула его Участь. Сейчас было не время заговариваться. Пусть лепечет и бормочет в свое удовольствие всё что угодно, но только после сытного обеда.

Странник пристыженно кивнул и принялся за дело. В этот раз он не стал сгущать воздух, а пошёл другим путём.

– Поверху шагала, летела, кричала, да не просто так, а ругалась меж собой, брыкалась, чего-то не поделив, перелетная стая... – он на секунду замялся, – телят.

Откуда-то сверху послышалось жалобное мычание ошалевших от такого поворота, скорее всего, телят, как и было объявлено ранее. Хотя уж не теми бычками и телушками они должны быть, которые ходят по земле, ведь отосланы они были прямо в облака и к небесам прикреплены неведомой силой слова.

«Летучие коровы, – хмыкнула про себя Участь, – небесные зайцы были бы симпатичнее, и гигиеничнее».

– Летела в стае такая телушка, имя которой было Неженка. Да, именно Неженка. Так звали её оттого, что работать она не любила.

Ну какая, к лесной матери, работа у телушки! Ври-ври, да не завирайся, – Участь в пору было переименовывать в Укоризну, столь полон осуждения был её взгляд.

– Ничего-ничего, – попытался оправдаться рассказчик, – скоро всё прояснится. Так вот, была та телушка Неженкой от того, что никакая работа ей была не мила. Она только жевала верхушечки травинки, потому что они были самыми сочными и вполне подходили её требовательной натуре. К тому же никак не могли испортить деликатного, совсем не свойственного корове пищеварения. Ножки у нее были пухленькие, но не жирные, а наполненные нежным мясцом.

Участь, уж совсем не скрывая своего корыстного интереса, шумно облизнулась, и продолжила внимать рассказу. Давай, хозяин, трави свою баечку! Только к нужному концу выверни, а не так, как в прошлый раз.

– Летела Неженка со всей стаей к безбрежному лесу, на островок Забытых Душ. – Участь на миг смутилась от такого неаппетитного названия, но странник поспешил развеять её сомнения. – Слышал я, что на том острове растёт самая вкусная в мире трава. Да-да, окажись там голодный человек, и он бы смог наестся. Но это совсем другая история. А наша героиня пока там, в небесах. И не просто себе парит, а во всю пререкается с товарками и товарищами, которые вместе с ней вылетели в дальний путь. Видите ли недостаточно мягко ей летится в облачных верхушках. Не спустится ли ей пониже, где небесного пуха побольше? Можно даже

вздремнуть на подушечках и перинках, ничуть не сбавив ходу. Так и сделала эта капризная особа – спикировала прямо к облачным подножиям. Но там ждало её совсем не отдохновение, не ласковая спаленка, а разразившаяся буря.

Рассказчик завыл диким голосом, изображая разъяренные небесные ветра, чем немало смутил не ожидавшую такого поворота собаку. Она опасливо завертела головой, но не найдя того, чего следовало бы остеречься, легла наземь, прикрыв нос лапами. Рассказ затягивался, а обед всё отдалялся. Непорядок. Но она решила терпеть ни смотря ни на что. Ведь в конце обещалась быть ко столу та самая нежнейшая телятина, о которой с таким упоением заливал неугомонный рассказчик. Правда он совсем не хотел кончать свою подопечную Неженку, дабы накормить высококачественным мяском изголодавшихся по хорошему столу, изнурённых вынужденной голодовкой путников.

– И вот, наша героиня, – возобновил повествование рассказчик, – такая крупненькая, но хрупенькая, такая сочненькая, что вместо крови текла в ней подлива, а в черепа болтались совсем негодные для жизни, но отменные на вкус, вываренные в лаврово-перечном бульоне мозги, с упоением лягнула пролетавшую мимо соседку. Чего они не поделили – того автору подсмотреть не удалось, но будем довольствоваться тем, что небесная ссора все же имела место быть. Такому недобрососедскому поведению гражданки Неженки возмутились все присутствующие при размолвке телушки и тельцы. Они кинулись бранить вдруг обезумевшую коровку. Неженка жалобно мычала, не понимая сути претензий, выдавала себя за пострадавшую и пыталась уверить со-клинников в том, что жертва виновата сама, ибо как же не вдарить по жирной противной заднице, когда она этого заслуживает. Почему же так, чего она тебе сделала? – спросили её. На это Неженка не нашла, что ответить, а лишь мотнула элегантными молочными рожками в сторону неприятельницы, что могло означать что угодно, но в данном случае: «Вы вообще видели эту дуру? Подлетите поближе и гляньте. Такой болванки ни на каких небесах не сыщите».

Что ж, посовещались умные головы, положили принудить возмутительницу спокойствия к извинениям и дальнейшему мирному небесному сожительству с невинно лягнутой одноклинницей.

«Вот ещё, буду я перед несъедобной дрянью из запасников извинения доставать, там с рождения их у меня на доньшке. Может ей еще моё единственное раскаяние презентовать?»

А разбидевшаяся «несъедобная» телушка только масла в огонь подливает:

«Видали что творит? Как облака только носят такую жесткомясую, ай-яй-яй! Совсем бедово в клине дело, если завистницу и рукоприкладку без наказания оставят. А она ещё раскаиваться ни в какую не желает. Ой, горе нам, небесным коровкам!»

Решено было прогнать зарвавшуюся Неженку, раз столь неуживчивая она стала.

«Вот и уйду, ме-ме-ме! Что б вас, клин отсталых!»

Сказав это, грубиянка сделала вираж и резко пошла на снижение. Нырнула в облака, которые только сверху казались пушистыми и мирными, а на самом деле таили страшную угрозу. Первая же надувшаяся синья туча запульнула в Неженку предупредительный электрический снаряд. Глупая телушка залетела прямо в центр грозы. Но поворачивать не стала, а только оскорбительно «ме-ме-мекнула» в сторону распоясавшейся тучки и полетела дальше, хоть и изрядно колеблемая поднявшимся штормовым ветром.

С безграничной её глупостью и не менее выдающейся несдержанностью могло поспорить только твердокаменное упрямство, имеющее место быть у дурных капризных коров только потому, что других жизненных движителей, таких как интерес, альтруизм, либо долг они были напроць лишены.

Она мычала, плевалась, брыкалась, но тучам всё было не почём. Ничто их не пронимало, и только с каждым разом они всё больше и больше охаживали и без того мягкие тела Неженки, мясо которой стало шипеть и скворчать растопленным жирком. Мозги закипели,

вернее закипел тот вкуснейший бульон, в котором они все это время пребывали, язык её одревенел и превратился в изысканную закуску, сдобренную вдруг выделившимся откуда-то из коровьих глубин лимонным соусом. Коровьи зубы заклацали в предсмертном угаре так резво, что нарезали приготовленный деликатес на мелкие кусочки, а после запечатали во рту до поры до времени.

Полетела изжаренная, вываренная, разделанная, только что по тарелкам не разложенная Неженка вниз вдесятеро быстрее, и лишь при соприкосновении с землей, выбрав для этого удивительным образом схожий со столом камень, приземлилась недалеко от проголодавшихся путников. Уффф!

Участь радостно гавкнула, когда услышала, как рядом с ними что-то шлепнулось, подскочила и понеслась к тому самому камню, о котором упоминал странник, на котором, рассыпавшись на симпатичные куски, лежала изысканно приготовленная Неженка. Будто поджидавшая гостей пасть телушки растворилась, издав финальное укоризненное «ме-ме-ме», и оттуда симпатичной стопочкой вывалился порционно разделанный язык в лимонном соусе.

– Прошу к столу, моя милая Участь, – галантно поклонился странник счастливо пританцовывающей на месте собаке. – Приятного аппетита!

Они ели, они чавкали, бульоном запивали, соусом скворчали, мослы камнем разбивали, мозговую внутренность, в них сокрытую, на оливковом-то масле томленую, чесночно-луковым одеяльцем укрытую, торжественными тимьяновыми веночками облагороженную, заглатывали в секунду, достаточную лишь для того только, чтобы просто сообразить, что во рту у них что-то съедобное, но никак ни для того, чтобы насладиться изысканным, никем еще в их мире не оценённым вкусом. Они жевали яростно, настойчиво, по-животному, хоть и жевать-то было нечего – телятина выдалась мягкая, будто вовсе не мясом была, а тем самым облачком, с которого свалилась капризная телушка.

Наелись скоро. Остатки решено было скормить коршунам. Правда таковых никто за всё время пути ни разу не видел. Но не был бы рассказчик рассказчиком, если бы не сочинил нужных персонажей. Те, осознав радость от вмиг обретенного бытия, огласили окрестности немзыкальными, полными неуёмного голода и детской вседозволенности криками и ринулись, совершенно не согласуясь с неприспособленной для того собственной физиологией, соколами вниз. Те, что не разбились, набросились на объедки, проглотили их в мгновение ока и улеглись на каменном столе, ныне используемом нахальными пернатыми обжорами в качестве ложа, да не просто ложа, а ложа для отдохновения, и не простого отдохновения, а именно после сытного, достойного древних царей пира.

Несчастные птицы вскоре издохли от заворота кишок, перед этим огласив Пустошь криком уже не радостным, но полным беспримерной тоски и грусти, как не странно не по скоропостижно оборвавшейся жизни, а потому что не смогут обжоры больше набить утробу и не испытают того волшебного блаженства, ради которого, собственно, были вызваны к жизни.

Странник, довольный завершением банкета, развернулся, чтобы ступить обратно на железнодорожные пути, и уже шагнул, уже было поднял голову, но увидел такое, чего вовсе не ожидал. От этого спёрло дыхание, всю его душу пробрало от неожиданности и омерзения. К нему тянули изломанные под самыми причудливыми углами, костлявые, где-то шипастые, где-то изодранные и даже стёсанные до сучков ветви-руки. Они почти подбирались к тому самому рельсу, на котором он сейчас стоял. Истощенные ломкие кусты, из которых произрастало жадное до плоти нечто, по форме напоминали людей. А может, это были именно люди, напоминающие кусты – не важно – все они в едином порыве, несомые накатывающей зеленой волной, стремились дотянуться до очумелого странника и оторвать от него кусок пожирнее.

Они пришли по его душу. Он во всём виноват, только он сам. Кто же его просил сочинять такой роскошный телячий пир? Нет бы придумал что-нибудь про утку, в полёте снёсшую пару яиц, которыми вполне могли наестся странник и его собака. Но нет же, ему непременно

надо было блеснуть изобретательностью и остроумием. Теперь он расплачивался за свое самодовольство – ещё чуток и на него набросятся эти существа. Тощие, с голодными, пронзительными, наполненными ненавистью и нуждой человеческими глазами.

Участь, тут же сообразившая, что до добра это всё не доведет, поругиваясь, встала рядом хозяина и не отходила ни на пол шага. Мало ли что могут удумать эти подлые безумные кустики. Но почему они разозлились? Чего им не сиделось там у себя? Кстати, где было это самое «там»? Наверное, рядышком с «у себя», где же ещё. Не всё ли равно, думала она, откуда выползли эти палочники и веточки. Всех перекромсаю, если только сунутся к хозяину.

А хозяин тем временем успокоился, поняв, что всему виной были укоризненные змейки, а не какое-то там проклятие или чудесное перерождение пустоши в безбрежный лес. Эти чертовы змеи, недавно сунувшиеся в их лагерь, изрядно покусали их. Остатки яда, пускай не смертельного, но, как видно вполне действенного, всё еще прибывали у них в крови и вызывали бредовые видения. Но у обоих сразу, у него и собаки? Этого не могло быть, они должны были страдать каждый по-своему, сообразно собственным мукам совести.

– Вот так загадка, моя дорогая, – обращаясь к собаке, задумчиво проговорил странник, – обязательно покумекаем над ней. – И уже решил продолжить путь, сошел с рельса, но тут один не в меру прыткий и мстительный кустик обвил его ногу лозой. Потянул. Странник удержался, но только в этот раз. В другой, когда осмелевшая лесная тварь дернула своим лассо, он потерял равновесие и свалился наземь. Правда не в возбужденно галдящий в ожидании кровавого жертвоприношения подлесок, а промеж рельсов. Но лодыжка его всё еще была скованна выпростанной чудовищной конечностью.

– Ньаааам-аааам, – прогудело хором кустистое воинство, явно желая отобедать нашпигованным нежнейшей телятиной, сдобренным адреналином и остальными изысканными гормонами страха и отчаяния человечком. – Давай нам ньааам!

Участь уже даже не гавкала, а выла, хрипела, слабенькими старушечьими челюстями грызла древесный си́лок, но ничего не помогало. Голодный куст медленно, но уверенно тянул добычу к себе.

Вот сейчас высунется его нога за рельс, а там её быстро оприходуют. Обглодают, прям как он обглаживал телячьи ребрышки. Не так он представлял свою смерть. Представлял... Представлял...

Вот неплохо было бы отгородиться от новых навязчивых знакомых непреодолимой стеной, подумал он.

Стена эта тут же упала с неба, перерубив любвеобильные отростки. Как, впрочем, с той же легкостью она могла отсечь ноги страннику, не подогни он их в последний момент. За новообразованной преградой завопили, заскреблись разочарованные агенты безбрежного леса, немного ещё побуянили и вскоре затихли, как если бы совсем исчезли.

А стена, что спасла жизнь страннику была совсем не обычной. Он оглянулся, но не нашел выхода. Ни в одной из четырех поверхностей, вставших вокруг него непроницаемой преградой, не было предусмотрено ни одной двери, даже самого ничтожного люка. Он был заперт в квадратном металлическом стакане. Скоро пустынное солнце поднимется высоко, запалит горячо и изжарит отгородившего себя от мира дурака почище, чем ту самую Неженку. Добро пожаловать в конец путешествия!

2

– Как вам там сидится, мой мальчик, хо-хо? – раздался снаружи мужской веселый голос. В нем не было ни издёвки, ни подтрунивания, но было сочувствие, и даже соучастие, будто этот человек вполне понимал всю незавидность нынешнего положения странника и желал разделить навалившееся бремя поровну. По крайней мере выслушать его этот весельчак был не прочь.

– Такая стремительная оказия вышла, – затараторил странник, – знаете, как оно бывает?

– Знаю, как не знать, – с отеческой, либо даже с какой-то материнской теплотой произнес невидимый за перегородкой собеседник, а потом невозмутимо добавил в подтверждение вышесказанного: – хо-хо.

Больше страннику ничего на ум не пришло, он просто сидел и пялился в стену, желая зародить хоть одну мыслишку, способную со временем перерасти в полноценный план спасения. За стеной также молчали. Но как-то уж слишком выразительно, если кто-то вообще был на такое способен.

– Мне бы вашу уверенность, – попытался продолжить разговор странник, – возможно тогда бы я отыскал выход. Вот только голова чего-то сегодня не работает.

– Зачем же, хо-хо, зачем вам голова, юноша, когда есть чувства. Обратитесь внутрь себя и узрите то, что на самом деле вами руководит.

– Вы меня, конечно, простите, но хреновое это руководство, когда чувства верховодят. В моём деле они излишни.

Невидимый собеседник замаялся, будто выбирая подходящие слова.

– Хо-хо, – промурлыкал он себе в нос, явно довольный тем, как движется разговор, – и что же это, позвольте спросить, за дело?

– Не помню, – удивленно пробормотал странник, – минуту назад помнил, а сейчас нет. Говорю же, голова чего-то того...

– Того, сего, а может этого, – пропел невозмутимый голос за стеной, – нам не понять, нам не понять! Не будь лапшой – живи душой!

В голове странника все перепуталось. Он уже не мог понять, что делает здесь в этих четырех стенах с голубым небом вместо потолка, кто этот добрый улыбчивый парень там, снаружи. А может не улыбчивый совсем, и не парень. А кто? Мыслей больше не было, только вертелась в опустевшем мозгу дурная рифмовка.

– Лапшой... душой...

– Вам нравится? Хо-хо! Мне тоже. Моего авторства. Мама всегда говорила, что у меня талант. Ах, мамочка, где же ты сейчас, моя старушка, хо-хо, где твои изумительные печеночные пироги, где твои медовые духи, где твоя морозная щетинистая собачья шубка, в которую я так любил уткнуться лицом...

Собеседник продолжал заливать, он приплетал всё новые и новые воспоминания, расцвечивая свой рассказ эмоционально выверенными, точными подробностями. Он распалялся. И вот, поведав о старом родительском садочке, где он мальчишкой лакомился малинкой, в которой временами попадались неаппетитные клопы, о том, как горстями заглатывал недозревшую смородину, зажевывая всё это дело сливкой, а потом всю ночь не слезал с горшка, вдруг, остановил рассказ в самом интересном месте и поинтересовался у пленника о том, что тот чувствует?

– О чем это вы?

– Да не о чем, а так, в общем. Интересуюсь вашим здоровьем.

– Чертовски плохо, доктор, – попытался сострить странник, но ему было не до смеха, и поэтому вышло как-то уныло.

– Ну, на душе-то, на душе, хо-хо, кошки поют?

– Вытащи меня отсюда, доктор. – Странник прикрыл глаза и завалился на бок, отчего Участь больше прежнего забеспокоилась, закрутилась около болезного хозяина и принялась поскуливать. – Что-то мне того...

За стеной опять недовольно проворчали себе под нос. Затем скрипнул некий таинственный механизм, и в потолочном проеме показалось улыбочное лицо того самого «доктора».

– Позвольте представиться, моё имя Бертрам. Также зовут Ярвором, либо Небесным Крикуном, как вам заблагорассудится.

Странник, которому вдруг сделалось совсем плохо, в ответ смог только простонать что-то невнятное.

– Конечно-конечно, мой мальчик. Сейчас я вызволю тебя из этой клетки. – И Бертрам, он же Ярвор, он же Небесный Крикун, раскатисто захохотал. – Охохохохо! Вы ж мои миленькие мамочки, папочки, братики, сестренки, бабуси-дедуси, кошечки-собачки, были ль вы или не были, миленькие вы мои поросятоньки, припомнитесь все скопом, разбередите душеньку. Ах, ох, вот же вы все всплыли, да в тех милых местечках, ах, какой же ветерок ворошит ваши волосы, солнышко играет на папочкиной лысине, да на мамином стальном зубике, хо-хо. Как же милы вы сердцу некаменн-о-о-о-му! – Последнее слово он пропел на манер плакальщицы на похоронах, и казалось, что следующим он вставит слезливое «на кого ж ты нас...». Но удержался. Уже произведенного эффекта было вполне достаточно.

Под напором ностальгической грусти узилище развалилось, как разрезанный на четыре части арбуз, и с пыльным грохотом стены его рухнули на землю. Ровнехонько по обе стороны от железнодорожных путей. Море иссушенных разгневанных кустиков исчезло, как никогда и не бывало. Одной бедой меньше. Но стоило побыстрее отделаться от Хохотуна, как для себя назвал его странник, этого Бертрама, или как бы он себя не называл.

– Спасибо... вам, – с трудом выдавил из себя странник.

– Совершенно не за что, юноша, – пропел Бертрам, – это доставило мне большое удовольствие.

«Присосаться ко мне и пить мозги – вот что доставило тебе удовольствие, – хотелось выпалить страннику, но все же он удержался».

– А вас, мой хороший, хо-хо, надо бы подлечить. – Бертрам присел рядом со спасённым. – Знаете, хаживал я в детстве к одному стоматологу – милейший, надо признать был человек, но вот работал он наживую. Не так чтобы на самую живую, нет же, что-то он там капал...

Рядом кто-то зарычал. Это была Участь, про которую все успели позабыть. Она сперва также поддавалась этим странным чарам, – а это точно были чары, тут сомнений не оставалось, – но сумела их перебороть, и воинственно оскалив зубы, заковыляла к пристававшему Бертраму.

– Хо-хо, как поживаете, мадам? – отползая от наступающей собаки поинтересовался он, но уже не столь беззаботно, как прежде. – Вижу это ваш человек. Что ж, я нисколько не хотел ему причинить вреда, нисколько, поверьте, моя дорогая. Вам не стоит растрчивать и без того ничтожные силы на такую пустячность, как я. Вот я был, и вот меня не стало. – С этими словами он взгромоздился на свой велосипед, приспособленный для движения по рельсам, и уже собирался вдарить по педалям, но верная Участь ухватила его за штанину и скинула с седла. Рвать она его не стала, зачем, если он нужен был живым, а только чуток потрепала. К тому же пожилой мадам, как назвал её этот хлыщ, что было жутко приятно, ибо еще никто её так не называл, следовало поберечь себя и не вступать в кровопролитные сражения. Для того была она стара и мудра, чтобы побеждать без боя, но только верной угрозой и своевременной демонстрацией силы. Последней в ней оставалось совсем немного, поэтому, зычно гавкнув, она устремила на врага свой бескомпромиссный ледяной взгляд и стала ждать, когда тот дрогнет первым.

Действительно, Бертрам дрогнул первым. Да не просто дрогнул, а откровенно задрожал от страха той крупной трусливой дрожью, которая нападает на всякого зарвавшегося, но в итоге не сдюжившего болтуна.

– Мадам, хо-хо, мы ведь с вами цивилизованные люди.

Вав.

– Допустим, не совсем люди... Так и быть, совсем не люди. Но разве может это обстоятельство возыметь над нами столь прискорбное действие, что мы кинемся выклеивать друг другу глаза? Пардон, в вашем случае грызть глотки.

Prrrr.

– Я о том же! Ровно о том же! – Бертрам потрепал по щеке потерявшего сознание странника. – Очнитесь, мой юный вкусный друг.

Вкусный друг очнулся и со страхом уставился на говорливого колдуна.

– Эх, жаль терять такое замечательное блюдо. Забирайте, сейчас же, пока я не передумал. – По птичьи ловко, хоть и отвратительно в человеческом исполнении, он что-то срыгнул. Это был шарик искрящегося радужного света. Оттолкнувшись от кончика языка, он, как спортсмен, совершающий художественный прыжок в воду, полетел вниз, к земле, но в последний момент затормозил и, верно поняв, что вместо водной глади его ждёт только убийственная земная твердь, изменил направление. Пулей рванул к опешившему страннику, немедля ни секунды влетел ему в нос и скрылся в глубинах его измученного тела.

– Ах, моя ненаглядная малинка, ах, мои клопики, – вздыхал расстроенный Бертрам, – я с вами уже породнился. Что ж, такова участь любого ворона, когда он встречает зубастую мадам.

Мадам, белее не выказывавшая агрессии, и вполне удовлетворенная исходом дела, мирно посапывала на коленях приходящего в себя странника. Возможно даже спала. Слишком много сил потребовалось истратить в этот раз. Слишком много.

– Кто вы? – спросил очнувшийся странник. – Что вы со мной сделали?

Бертрам, не пожелавший спешиться со своего двухэтажного транспорта, имевшего возможность возвышаться над местностью на манер домкрата и медленно приходящего в исходный вид, отсалютовал своей маленькой кепочкой – только сейчас странник смог в деталях рассмотреть импозантного велосипедиста, – почтительно склонил голову к груди и еще раз представился, но уже более распространенно: – Имя мне Бертрам, он же Ярвор, он же Небесный Крикун. И принадлежат все эти мена созданию достойнейшему, мудрейшему из мудрых, прекрасной наружности и не менее чудесной внутренней организации – Яркому Ворону.

Все это время, что Бертрам вещал о себе, странник рассматривал нового знакомого. Это был мужчина уже в летах, но не старик, с лицом потемневшим от загара, казалось бы, темно-кожий от рождения. Голова его была совершенно без единого волоска, прикрытая на макушке лишь той самой кепкой, о которой было сказано выше. Но что это была за голова! В одних местах она бугрилась, в других выравнивалась, в-третьих, ближе к лицу, покрывалась низменностями и овражками, а потом вновь обрастала холмиками и горками. Уродец, да и только. Его нос был огромен, вызываяще шербат и по-птичьи заострен книзу, хоть и несоразмерно толст у основания.

«Точно ворон, – подумал странник».

– Именно он, – прочитал его мысль Яркий Ворон.

– Ты решил поживиться мной?

– Помилуйте, – зарделся гневным румянцем ворон, отчего стал еще более тёмнее лицом.

– Я же не какой-нибудь там коршун.

Да уж, не коршун, всех коршунов я закормил на смерть.

– Я прошу прощения, хо-хо, за такое обращение. Вы же простите, старого заблудившегося велосипедиста?

– Колея никуда не сворачивает, как же ты мог заблудиться, Ярвор? Да и какого черта ворон катит на велосипеде? – спросил пришедший в себя и от одной этой мысли изрядно повеселевший странник.

– Ооооо, – многозначительно протянул Ярвор, – вороны – все заядлые велосипедисты, разве вы, юноша, не знали?

– Что-то ни разу не видел ворона на велосипеде. Кроме тебя, конечно.

– Я единственный из всего вороньего племени, который исполнил нашу древнюю мечту. За это и был изгнан.

– Они завидовали тебе?

– Что вы! – оскорбился Бертрам. – Мы не люди, чтобы заниматься подобными глупостями. Они – мои милые пташки – боялись, что я их заражу.

– Чем? – начал терять терпение странник.

– Планами.

Что за глупость! Какого черта ты слушаешь этого клювастого болтуна? Какие еще заразные планы?

– Все думают, что нет ничего заразнее мечты. Но позвольте вас переубедить.

– Позволяю, – устало махнул рукой странник.

– Мечта, так уж и быть, невероятно страшное заболевание. Да-да, вы мне не перечьте, а лучше припомните свои мечты. Ну? Припомнили? Как ощущения? Неприятно, не правда ли, воскрешать неисполненное, а тем более желаемое, но сил на которое, увы и ах, совсем не осталось. А значит исполнены они никогда не будут, как не убеждайте себя в обратном.

Странник сделался задумчивым и серьёзным, но не от того, о чем мог подумать Ярвор. Он бы и рад был узнать, что такое мечтать, но не мог. Мечтать может лишь тот, кто помнит своё прошлое, помнит себя, а также откуда и куда идет. В конце концов понимает, что вообще происходит. Странник же не помнил ничего.

– Но планы, – погрозил небу крючковатым пальцем Бертрам, – вот где настоящие враги рода... любого разумного рода. Планы заражны, мучительны для больного, и в конце концов смертельны.

– Что же ты хочешь мне сказать, Яркий Ворон? Говори яснее. Не пойму я тебя с твоими планами.

– Вот и сородичи не поняли. Как только мечты переросли в планы, я сел на велосипед и поехал вперед. В том он и состоял.

– Кто?

– План.

– Да брось, Ярвор. Что же это за план такой? Просто катить вперед? Обязательно должна быть цель пути.

– Нет, хо-хо, – как-то особо тоскливо хохотнул Бертрам, – только путь.

– И тут на твоём пути повстречался я. И ты решил ободрать несчастного странника.

Бертрам насупился, нижняя губа его нервно заходила ходуном, то резко отстраняясь от верхней, то скукоживаясь на подобие озябшей гусеницы. Он обиделся.

Как бы узнать, могут ли гусеницы зябнуть? – задался вопросом странник. Он бы и дальше продолжил развивать эту мысль, возможно даже соорудил заготовку под новый волшебный рассказ, если бы не решительное бертрамовское «Нет!». Странник с удивлением, и даже отчасти с уважением, глянул на обидчивого ворона.

Тот был непреклонен.

– Нет! – повторил он. – Все совсем не так. Я это делаю не от скуки. А по великой нужде.

– Хо-хо, – проговорил странник голосом Бертрама, – все частные нужды отправляются в одиночестве, но никак не в присутствии и не за счёт невинных путешественников.

– Знаю-знаю. Для вас, мой юный друг, я бандит с большой дороги, но на самом деле все совсем-совсем не так. Я подумал, что вы обречены и навечно заперты в своем узилище, возможно, поделом – кто знает, такие нынче времена. А потому вы сами себе без надобности. И пока теплится в вас жизнь я решил употребить столь ценную в этих краях искру на благо.

Участь пробурчала во сне что-то невнятное. Ворон коротко глянул в её сторону и зататорил ещё быстрее.

– А потом я понял, что вы со своей спутницей попали в затруднительное положение, и вовсе не собираетесь сдаваться на милость безжалостной пустоши. – Бертрам преданно посмотрел в глаза страннику, улыбнулся и развел руками. – Падальщика не переделать.

Странник многозначительно откашлялся, а потом сухо произнес:

– Полагаю, вышло недоразумение. Ты, Ярвор, ошибочно принял нас за мертвецов, и поэтому накинулся.

– Именно так, юный странник, именно так! – с энтузиазмом поддержал Ярвор. – Дело в том, что частенько даже такому знатоку тухлятины и мертвечины, как мне, не удается с первого раза распознать... жмурика.

Как же ему не шло это словечко – жмурик. Будто почтенный старик вдруг решил впасть в детство, и ничего лучшего не придумал, как ляпнуть такую несуразицу.

– Как же так? Ведь если человек шевелится, говорит, улыбается, хмурится, то он определенно жив, – искренне изумился странник.

– Может да, а может нет, – загадочно улыбнулся Бертрам. – Бывает такое, хо-хо, что сперва кажется вполне живым, а потом выясняется, что давненько мёртв. Тогда я имею на такого полное право.

Странник с подозрением и опаской воззрился на ворона, не решаясь задать мучавший его вопрос. Но Бертрам, поняв, что именно его тревожило, ответил.

– Да, ты жив. Пока. Но однажды...

– Ты придёшь за моим ходячим трупом?

– Отчего же сразу я, хо-хо? Помимо вашего скромного слуги по этой железной дороге катается множество других падальщиков. Однажды кто-то из них обязательно заберет вас. Но позвольте ещё сказать, – заторопился Бертрам, увидев, как странник засобирался в дорогу. – Если вы, питаемый своим чудесным даром, всё ещё полны жизни и не скоро ослабнете, то с вашей спутницей не все так гладко.

Странник с болью и отчаянием посмотрел на свою собаку. Он знал, что это правда. Участь была слишком стара. А недавняя схватка с кустами из безбрежного леса забрала слишком много сил.

– Что же мне делать? – растерянно спросил странник. – Я не смогу без неё.

– А ты пробовал? – требовательно уставился на него Бертрам. – Ладно-ладно, можно обойтись и без этого.

Странник с надеждой воззрился на мудрого ворона, который вот-вот раскроет тайну как спасти его ненаглядную Участь. Но Бертрам лишь снова развел руками, которые в тот момент стали чертовски похожими на крылья, и ответил то, что и следовало ожидать от мудрого, а оттого богатого на хитрости и увертки собеседника.

– Вскоре ты сам поймёшь, что делать. А пока... – он почесал уродливый нос-клюв, – а пока я могу тебе немного помочь. Но так как бесплатно я уже помогал, то за новую услугу кое-что попрошу.

– Всё что угодно, если поможешь ей, – вспыхнул странник.

– Всё – это слишком много, хо-хо, на велосипеде не увезёшь. А вот на малость я согласен.

– Что это, говори сейчас же?!

Бертрам опять принялся чесать нос, будто незримо советуясь с ним в непростом деле, а получив совет, либо приказание – кто их знает, какие у ворона с его клювом отношения,

– благожелательно поведал страннику о том, что ждёт его спутницу. Она, бесспорно, жила один из последних, если не самый последний день своей жизни, и ничто, кроме бесценного дара Яркого Ворона её не спасет. Этим даром был высушенный глаз ящерицы. Бертрам особо настаивал на том, что поймать эту «капризулю», как он выразился, было невероятно сложно. Ведь редкая ящерица готова добровольно отдать свой глаз.

– Как и все остальные, – отметил странник.

На это Бертрам возразил, что все остальные умирают в положенное время, и, если подкараулить такого «на излете» – тоже его выражение, – то можно с легкостью выколупать глаз, и даже два. Да хоть на мелкие кусочки разорви – труп всё равно. А ящерица (тут ворон неожиданно злобно и грязно выругался) сдохнет только когда сама захочет. Мол бессмертная она, по крайней мере до того момента, пока кто-нибудь не слопаёт засранку целиком, либо она сама не захочет расстаться с жизнью. Тех, кто желал бы по собственной воле пожертвовать собой в пустоши водилось прискорбно мало, поэтому Бертраму пришлось гоняться за жертвой не один день.

– И что же такого ценного в этом глазе, – аккуратно поинтересовался странник, не желая задеть обидчивого ворона, – на что он способен?

– Оооо, – протянул тот таинственно, – на многое.

Здесь Бертрам лукавил. Список положительных эффектов от этого снадобья был разочаровывающе мал. Ящеричный глаз помогал лишь в одном – он, всего на всего, давал второй шанс. Он вырывал стоящего на роковом пороге из костлявых лап смерти, а после еще некоторое время укрывал от «всевидающего пагубного ока». Эту чудодейственную пилюлю предложил ворон для спасения умирающей Участи.

– Она тоже будет жить вечно? – не понял странник.

– Хо-хо, мой друг, нет ничего вечного. Я, к примеру, еще не встречал ни одной ящерицы, которая смогла бы прожить вечность. И вряд ли увижу.

– Но на что тогда это средство?

– Вам, людям, подавай или вечность или забвение, по-другому не хотите. А как же прожить ещё парочку замечательных лет? Или месяцев, или дней, не важно, ведь никто не откажется на смертном одре от неожиданного продолжения? Твоя Участь тоже будет рада пройтись еще немного по этой железной дороге. Ну что, в таком случае согласен?

– В каком? Ты ничего не попросил взамен.

– Ах да, ах да, – виновато шмыгнул носом-клювом Бертрам. – Мне нужно немного. Всего лишь крылья.

Странник опешил от такого требования и уже хотел было протестовать, убеждать Ярвора в том, что ему неподвластна такая магия, что он всего лишь странник и изредка сочинитель, но ворон, элегантно крутанувшись вокруг своей оси, взмахнул руками, явно воображая, что это крылья и заговорил высокопарно, но доброжелательно.

– Мой юный друг, не смотрите на меня так. Да, я изгнанник. А изгнаннику, не имеющему цели, не положено иметь крыльев, ведь они не выдержат бесцельного полета. Ворон не летает, а преодолевает дистанцию, он знает начало и конец. Я же понятия не имею, когда все это закончится. Потому пребываю в том виде, в котором имею честь стоять сейчас здесь пред вами. Бескрылым, хо-хо, и двуногим.

– Что же ты от *меня* хочешь? – совсем обалдело выпалил странник, напирая на слово «меня».

– Я же сказал, крылья. Придумайте мне их. Вы оделены замечательным талантом, мой друг. Так примените же его

Странник отошёл в сторону, туда, где мирно посапывала собака, потрепал её по голове в надежде, что она проснётся, завиляет хвостом, звонко гавкнет и посмотрит на него, с удивлением и усталой нежностью. *Ты чего, хозяин, такой грустный? Видно, давно мы не носились*

наперегонки вдоль рельсов. Догоняй! Но она спала. И был её сон крепким, старческим, глухо-немым. А может даже полностью бесчувственным. Участь ничего не ощущала – ни того, как странник настойчиво тербил её бок, ни того, как шептал ласковое на ухо – всё было ни по чём, она спала таким сном, какой легко мог стать последним. Это был сон старого человека, прожившего жизнь, полную сюрпризов и событий, свершений, разочарований, потерь и побед.

Снилось такому старику то, что все ещё могло увлечь его, выдавшего виды, а именно покой. Был этот покой не чем-то абстрактным, а конкретным местом, куда отлетит душа, и место это было бы его личным, ни на какие другие посмертные обиталища не похожим. Но как с этим обстоит дело у четырёхлапых? Видят ли они величественные небеса, облачной воронкой уходящие к преддвериям ада? А через прорези в тех массивных кучевых стенах выглядывают ли мордочки их собачьих святых? Мученики бульдожки и пекинесы, самой своей конституцией тела заслужившие право называться мучениками; амурные пудели и не менее легкомысленные кокер-спаниели; россыпь игриво порхающих терьерчиков и всякая такая же экзотическая мелюзга, типа лхасских апсо и папильонов, названия которых легко можно спутать с названиями марочных вин. Будет ли на самом верху этой небесной пирамиды восседать премудрый немецкий дог или грустный щекастый сенбернар? Это известно станет лишь оказавшейся в своем милом собачьем раю издохшей шавке.

Странник мотнул головой, прогоняя подступившие фантазии. Никакая Участь не шавка, а самый настоящий друг, и ему стоило бы поостеречься с такими мыслями – о всяких там собачьих загробных мирах, – а то не ровён час спровадит свою добрую старушку, когда ей туда ещё совсем не пора.

– Проснись, Соня, – всё также ласково, но уже настойчивее потрепал собачий бок странник. Соня приоткрыла глаза, явно удивленная, что перед ней был всё ещё хозяин, а не та самая лучезарная небесная свора.

Участь потянулась к лицу странника, чтобы лизнуть, но не смогла подняться и облобызала вместо этого что-то невидимое рядом с собой.

– Лежи, старушка, лежи, – прошептал хозяин на ухо собаке, а потом подсунул ей к морде раскрытую ладонь. На ней лежал тот самый спасительный глаз ящерицы, почему-то приобретший вид таблетки.

«Даже здесь ты не смог оставить все как есть» – бранил себя странник за то, что не удержался и облек лекарство в более... лекарственную форму, как будто в виде таблеток сила его должна была непременно увеличиться.

– Ешь, – совсем не ласково, но тревожно приказал он.

Участь обнюхала угощение. Увидев совершенную несуразицу у хозяина на ладошке, она все же не стала возражать, а доверчиво слизнула предложенное. Страннику виднее. Если хочет отравить, то пусть травит – так оно будет лучше для всех, и для старухи, обузой ковыляющей вслед за хозяином, и для него самого, такого юного и пылкого до приключений, жаждущего пути, вождедеющего новинок и новостей. Но где же тут новинка, где новость в издыхающей собаке? Где она, спрашиваю я вас?! Грусть одна с вашей Участью. Пусть бы помирала. Во сне, без воя, без хрипа. Так, как надо умирать всем старикам, чтобы ни себя не удручать, ни других не отвращать от своей будущей безобразной кончины. Пусть старики останутся мудрыми, добрыми, всезнающими, а не жалкими развалинами, гадящими под себя, лающими на собственную тень и не узнающими ни своего отражения в зеркале, ни убитых горем родственников. Или хозяина. Это уж смотря кем обзавелась за жизнь древняя сука. В данном случае огорчать она будет хозяина. Вот вам и хо-хо.

Участь попыталась что-то пробурчать, но даже этого у нее не получилось. Сил осталось только для того, чтобы ещё разок взглянуть на обожаемого хозяина. Взглянуть так, как никогда прежде не глядела – с такой любовью и бескорыстной преданностью, которую он запомнит на долгие времена. И не будет ему грустно от этой памяти, а придут на ум только веселые

приключения, встреченные и совместно пережитые ими сообща в столь долгом по собачьим меркам путешествии.

– Поправляйся, – деловито, без капли грусти в голосе сказал странник, и отошел по своим человеческим делам, не одарив и взглядом издыхающую собаку.

Участь, искренне желавшая хозяину счастья в дальнейшей жизни после её смерти, всё-таки несколько огорчилась такой резкой смене в его настроении и даже немного, да что уж там, вовсе разобиделась на предателя, не желавшего ни минуты пребывать в трауре по поводу её кончины.

– Я поверю тебе, Ярвор, – направился к ворону с протянутой рукой странник.

– Мы хоть и родственники сорокам, хо-хо, – заявил Бертрам, торопливо отвечая на рукопожатие, – но не имеем привычки болтать попусту. Сказанное вороном – это не просто «кар», это дважды «кар»!

– Кар-кар?

– Ах, знали бы вы как много мудрости заложено в этом карканье.

3

Странник и Бертрам дождались, когда полегчало Участи, и сразу же после этого приступили к дилемме с крыльями. Действительно, их у вышеозначенного неполноценного пернатого не наблюдалось, что создавало некоторые неудобства. Следовало придумать откуда бы им взяться, и поскорее. Лучше, чтобы они оказались такими, которые подойдут несчастному вороному изгнаннику. И, более того, смогут вернуть его в небеса, откуда он был с позором изгнан сородичами из-за некой преступной страсти к планам, которые на самом деле являются ничем иным, как бесцельным путём. Удивительная глупость! Надо же, порой всю жизнь живут люди, в данном случае вороны, подобной ерундой питаюсь, в ус не дуют, знать ничего не знают, и удовлетворяются своей выдумкой до гробовой доски. Но не страннику судить бескрылого Яркого Ворона. Ему полагалось смастерить крылья, и не задавать лишних вопросов.

– Начнем с того, что ты нынче мало похож на птицу, – повел свои рассуждения странник, обращаясь к возбужденному от предвкушения, нервно теребящему кончик носа-клюва Бертраму. – А это значит, что унести тебя в небеса должно нечто большое, многопёрое, толстопушное.

Бертрам, услышав вычурные слова заклинания, уважительно склонил голову, не переставая стрелять зорким вороньим глазом – не очутилось ли поблизости чего-нибудь крылатого.

Странник слышал, как это всегда у него случалось после ритуала сочинительства, тоненький гитарный дзынь. Это значило, что все готово, осталось только дожидаться материализации задуманного, которое, как та самоприготовившаяся телушка Неженка, упадёт тебе прямо на стол. Больше суетиться не стоит – дожись дзыня, и действуй. В том случае, когда казалось, что ничего не произошло, следовало просто глянуть в округе. Сочиненное могло быть скрыто, и потому требовалось уделить некоторое время поискам.

Действительно, через четверть часа отыскался остов порядочно разрушенного дома, присыпанного песком так, что он совершенно скрывался от взгляда путников. И только блеснувшее на солнце нечто указало верное место расположения древнего обиталища. Впрочем, какое же оно древнее, раз было создано пятнадцать минут назад только для того, чтобы в его руинах отыскились новые крылья? Странник частенько задавался этим вопросом, но не находя более подходящего ответа, постановлял следующее: прежде сочиненного не существовало, так как оно не было сочинено, а вот после момента сочинительства, когда желаемый предмет вдруг появлялся, тогда уже он существовал в мире всегда. И был органичен для него, для этого мира, даже в самом своем несуразном проявлении. Магия заключалась не в том, что вещь бралась из ниоткуда, а в том, как мир реагировал на очередное чудо, вынутое из кроличьей фокуснической шляпы – мир вовсе его не замечал. Будь то запечённая в грозе небесная телятина, или нечто многопёрое и толстопушное – всё привечалось подслеповатой старенькой реальностью, всё ей тут же становилось родным и любимым.

Это была пружина. Огромная стальная пружина, выпрыгнувшая, словно укоризная змейка из бархана, и призывно блестящая на солнышке. Она заманивала путников в свои него-степриимные зыбучие пески, подмигивала искристым глазом. *Я здесь, иди сюда, путник, приведи своего друга, свою собачку, всех приводи. Ступите на песочек, а лучше прилягте, чтобы отдохнуть.* И получите в спину залп из остальных трех десятков, или сколько бы не скрывалось там этих пружин, которые только и ждали, чтобы продырявить любознательных скитальцев.

Не успел странник отогнать вдруг одолевшую его фантазию, как тут же из-под земли выпрыгнули еще три стальных спиральки. Что-то было неладно с этой засыпанной песком избушкой.

И то правда. Единственным, что в ней хорошо сохранилось был гигантский, будто созданный специально для каких-то великанов, матрас. Стоило стряхнуть с него песок, как предстало перед поисковой бригадой огромное, занимавшее всё пространство стоявшего здесь прежде дома, величественное ложе. Было оно, помимо поддерживающих его пружин, плотно набито пухом и перьями.

– Вот тебе, Ярворчик, – обескураженно пробормотал себе под нос Бертрам, – многопёрое и толстопушное.

Странник попытался утешить вдруг прослезившегося ворона, но ничего не вышло. Тот не на шутку расстроился такому несчастливому стечению обстоятельств.

– Я думал ты мастер, – горестно вздыхал он, – а ты... Что мне делать с этим матрасом? Остается распороть его и обсыпаться перьями. Может, хоть так я стану чуть ближе к небесам. А глаза мои пусть выколют пружины, чтобы больше не видели постыдного поражения. Остаётся мне несчастному до конца жизни крутить педали, катить по железке в надежде повстречать настоящего волшебника, а не такого пустопорожного болтуна, как ты!

Последний комментарий изрядно задел странника, и он попытался оправдаться, попутно кидая куда-то вдаль оскорбленные взгляды.

– Я не волшебник. Волшебников не существует. Я рассказчик. Просто нужно перефразировать.

– Перефрезеровщик! – с каким-то вороньим акцентом выплюнул Бертрам, сложил на груди руки и уселся на землю, опершись спиной о выступавший из песка кусок стены.

Также поступил и странник. Причем уселся совсем рядом, чтобы иметь возможность возобновить прерванный разговор, когда все немного остынут.

Все остыли довольно быстро, и через парочку неуверенных «хммм» и «ну, что ж» уже снова горячо обсуждали следующую попытку, к которой готовился подступиться вдохновлённый неуваждающей верой своего нового знакомого странник. Участь, недавно очнувшаяся от предсмертного помрачения, все же не спешила поддержать хозяина радостным лаем, а устало бурчала себе под нос какие-то стариковские банальности. Типа «чего б не пойти дальше, всё ж лучше идти, чем топтаться на месте», или «ну эту трупоедскую душонку, беда с ним одна, ты только посмотри на его нос, не нравится мне он, шнобель, а не нос; и пахнет от него, ох, ты бы знал хозяин, как от горы трупов, хоть я и не нюхивала ни одного трупа, тем более гору, но могу поручиться, что запах так себе».

– Слишком расплывчато и общо, – констатировал странник, – надо бы взять предметнее.

– Так возьми, – хамски бросил Бертрам, – и не дури меня больше.

Страннику захотелось накричать на вздорного ворона, но он сдержался, а вместо этого продолжил спокойно рассуждать.

– Моя ошибка была в том, что я захотел многопёрого и толстопушного, а надо было заказывать совсем наоборот.

– Толстопёрого и многопушного? – не унимался Бертрам.

Странник, погруженный в дилемму ответил, на удивление, спокойно и взвешенно.

– Нет, простой перестановкой здесь не обойтись. Вылезет такая же ерунда, только чуть заковыристей. Реальность не обманешь. Ей очень не нравится, когда в неё привносят что-то неожиданное и чужеродное, хоть изредка мне и удастся её обдурить. Но если она пронюхает об этих шалостях, то мало не покажется. Заигрывать больше не буду. Иначе свалится нам на головы центнеровое перо, и переломает шеи за такое вольнодумство. В общем, слушай меня внимательно, Ярвор... Хотя нет же, это я тебя слушаю. Расскажи мне все о своих пожитках.

– Хо-хо, мой дружок, – смутился Бертрам, но, видя искреннюю заинтересованность и погружённость странника в процесс создания крыльев, не стал упрямыться, а начал системно перечислять имевшееся в его собственности. – Я, конечно, не самый зажиточный чернопёр, но что-то под крылышком скопил. Обратите внимание, имеется изысканный плащ, совершенно

не чета нынешним, – он лениво махнул полый древнего запылённого плаща, место которому скорее в музее или на театральных подмостках, – смоль, не иначе.

Что означала эта «смоль» странник не знал. Вряд ли это понятие относилось к цвету, и, скорее всего, употреблялось просто для того, чтобы выказать удовольствие, либо дать высокую оценку чему-либо. Смоль – так смоль. Некоторое время странник катал на языке это меткое словечко, пока не пришли на ум два других, менее понятных – альмавива и пелерина. Звучали они приятно, округло и не агрессивно, поэтому решено было оставить их и попробовать как-то употребить в дело. Нечего такой красоте пропадать зазря. Пелерина – звучало как балерина в пеленке. Это совершенно не годилось, а альмавива пахивала чем-то ягодным. Честное слово, не густо. Но, все же, что-то было в этом плаще-альмавиве, с той самой пелериной, укрывавшей спину и сухонькие вороновые плечи, нечто особенное. И на это особенное стоило взглянуть пристальнее – важна была любая, пригодная для переделки или дополнения деталь.

Странник требовательно уставился на ворона.

– Ярвор, отвечай честно, как перед самым строгим вороновым судом. – Бертрам величественно и благожелательно кивнул. – Не чувствуешь ли ты некоторое неудобство в своем плаще. Не было ли у тебя от него какого-то странного чувства, типа зуда или жжения, а может, что-то побаливало, топорщилось, неуютно прилегалось?

– Не пойму, кого в вас больше, – благосклонность в ветреном вороне сменилась на презрение, – доктора или портного. Это совсем не хо-хо такие вопросы задавать. Безгранична во мне птичья мудрость, но не терпение.

Странник поспешил оправдаться, объяснил для чего ему нужна такая информация, что дело здесь вовсе не в медицине и не в качестве вышеозначенного аксессуара. Странник надеялся упрятать незамеченные Бертрамом крылья под плащ, как если бы они там всегда были, а он их просто не замечал, относя неудобство к изъяну фасона, либо к неудачному крою. Но вся эта стройная теория разбилась об одно маленькое словечко.

– Смоль! – таково оно было, повторенное величественно и бескомпромиссно. – Это не плащ, а чистая смоль, юноша! Поэтому попрошу не придирается к моему внешнему виду.

Странник подумал извиниться за непредумышленное оскорбление, но понял, что ворон, убеждённый в непререкаемой «смолистости» своей верхней одежды, нисколько не нуждался в извинениях, и просто продолжил поиск верной зацепки.

– Если бы ты, господин Яркий Ворон, был хоть чуточку сговорчивей, то уже сейчас расправил бы крылья и полетел себе куда глаза глядят.

– Что, – тоненько поинтересовался Бертрам, – уже сейчас...? Ну, знаете, хо-хо, если вам так необходимо поиздеваться над моим любимым плащом, то я, конечно, позволю вам это сделать. Лишь бы с крыльями все получилось.

– С плащом уже не сработало, – отрезал странник, и перешел к следующей вещи: – что же велосипед?

– Что... велосипед, – засуетился вмиг приунывший Бертрам, – что же с ним?

– Вот и мне интересно, что с ним. Это ты мне, друг Ярвор, расскажи откуда он у тебя. А если сможешь присовокупить какую-то странность, за которую я могу зацепиться, то очень мне поможешь. А в первую очередь поможешь себе. Велосипед такая же смоль, как и плащ?

Бертрам нервно отмахнулся.

– Что вы, хо-хо, какая уж здесь смоль. Так, утилитарность сплошная, не более чем недозрелый аппарат.

– Недозрелый? Что это значит?

– А то и значит, что сорвали его немного недоспевшим.

Странник не стал больше задавать наводящих вопросов, а молча взирал на недоуменного ворона, и тем своим недовольным молчанием настаивал на безоговорочном сотрудничестве.

Иначе, еще несколько времени провозившись с несговорчивым подопечным, он мог бы и плюнуть на нелегкое дело помощи обескрыленным воронам-изгнанникам.

– Я вас понял, господин странник. Ни о чём не беспокойтесь, сейчас обо всём доложу. Велосипеды у нас растут на грядках, как и столы, кресла, кровати, в общем вся нужна утварь. Вороны отменные огородники, знаете ли. Но вот никто до того не удосуживался вырастить велосипед, а я взял и вырастил. Но, будучи неопытным в такого рода занятиях, я, все же с горем пополам взлелеяв этот необычный плод, сорвал его в несколько недозрелом виде. Как вы могли заметить, хо-хо, он слегка пантографичен – ибо требовалось развить в нём железно-дорожные качества, вот и привил я, на свою голову, веточку от трамвая. Поэтому он, время от времени, взмывает в небеса в поисках электрических проводов, напрочь забывая о седоке. Также, если уж позволите высказаться как на духу, в скоростях этот олух привередлив и по общему состоянию изрядно скрипуч.

– Медленный? – резюмировал странник.

– Не то слово, юный мастер, не то слово! Как сонный гиппопотам!

«Так прямо и гиппопотам, ну-ну, заливай!».

– Не смейте сомневаться! – Бертрам, то ли от нервозности, то ли от предвкушения скорого чуда, окончательно перешёл на старинный высокопарный говор, и, возможно, оттого же, стал удивительно покладист. – Сколько же моей кровушки выпила эта проклятущая конструкция, никто бы не поверил! Вот так едешь, беззаботен и светел, чист душою и жить-то как хочется, стремиться вдаль, преодолевать километры за километрами, зреть в корень, а если и не в корень, то около мутным поэтическим взглядом блуждать, красотами мира увлечьшись, нестись на всех парах в еще более чарующую, манящую, соблазнительную даль... – Всё это время он помогал себе ручкой, как если бы дирижировал, а, выговорившись, закрыл глаза, видимо призывая то самое неземное блаженство, которое, по его рассказам, обещала даль, но через секунду снова открыл глаза. Лицо его, разительно огрубевшее, выражало лишь одно – страдание. Бертрам с чувством выдал: – какую же дрянь я вырастил на грядке! Ей богу, мой мальчик, это ни разу не хо-хо колесить по миру на этом недозревшем баклажане. Где ему вздумается, там он замедлится, где захочет, там полетит, как последний дурак, а что я? Мне, бедному только и остается глазеть на это бесчинство и молить небеса, чтобы вразумили они лиходея!

Странник коротко кивнул, и в этом его кивке было столько профессионализма и уверенности в счастливом исходе дела, что Бертрам тут же воодушевился, расправил до того обычно стремящиеся к щекам плечи, возможно даже воображая, что расправляет новообретенные крылья, и гордо, отчаянно, как это могут только оскорбленные несуразной несправедливостью вороны, выдал свое монументальное «кар!».

– Да! Мой доктор, мой спаситель, лишь на вас одна надежда. Уберегите мои последние годы от тоски, дайте же мне то, что по праву моё!

– Будет, будет, мой дорогой господин Ярвор, стоит только присмотреться к вашему образу жизни, к окружению, к вам лично, как тут же вылезет деталь, совершенно неприметная, которую никто не умудрился бы заметить. А мы заметили, и не просто – вон она забава, интересенькая, примиленькая, вычурненькая, а так что – иди-ка сюда, милипусечка, ко мне в ладошку прыгай. Я тебя погрею, рассмотрю и жизни дам.

Бертрам покосился на странника со смесью страха и восхищения.

– Опять колдуете? – уважительно прошептал он.

– Низко берешь, Ярворчик, – ответил ему вмиг повеселевший странник, – камлаю!

Результатом камлания стало семечко. Оно уютно лежало на ладони самозваного шамана, ибо шаманы – это про духов и другую загробную ерунду, а странник же в очередной раз сочинил, и тем самым материализовал нечто до того не существовавшее. Сейчас это было семя.

Но чертовски необычное, как, впрочем, всегда у рассказчика. Ещё ни разу у него не выходило чего-то унылого и безынтересного.

– Что же... это? – пытаюсь совладать с непокорным голосом, проблеял, Бертрам. От натуги, либо от чрезмерного волнения с его лица схлынула вся краска, до того присущая подкопчённому на злом пустошном солнышке ворону. Быть таким ему совсем не шло, он походил больше на распотрошённую, обескровленную курицу, готовую к любым превратностям судьбы – будь то щи, бульон или котлеты, – но не на гордое, мудрое и величественное небесное создание. – Зачем же нам... семя?

– Ты меня удивляешь, Ярвор, – с обидой ответил странник, – мы его посадим.

В следующее мгновение он уже заливал о том, как будет это самое семя раздора применено, какими огородными хитростями стоит воспользоваться, чтобы вырастить из него достойный плод, и что в итоге все – от него самого до сомневающегося Ярвора – станут свидетелями чуда.

Странник не стал более томить взволнованную публику, уже подумывающую о том, не вернуть ли билеты и не разойтись ли по домам, а просто сделал обещанное – недалеко от путей прикопал семечко, и принялся чего-то ждать.

– Чего же вы ждёте? – резонно поинтересовался Бертрам.

– Плода, – не менее резонно ответил странник.

Неожиданно Бертрам удовлетворился ответом, и тоже стал ждать. Но что-то ничего не росло, о чем он через полторы минуты мучительного ожидания поспешил громогласно объявить.

– Полейте его, – предложил странник.

– Кого? – не понял Бертрам, погруженный в совсем другие мысли, а именно: о том, как будет распекать шамана-недоучку, колдуна-пустобрёха, и вообще не самого замечательного юношу, которому вовсе не стоит открывать свой лживый рот и смущать встречающихся ему на пути обездоленных воронов.

– Полейте наш саженец надеждой.

– Вы, милый мой целитель, издеваетесь?

Целитель издеваться и не думал, поэтому просто требовательно взирал на распалённого Бертрама.

– Где я вам найду столько надежды? У меня для себя совсем немного осталось, а вы предлагаете за просто так плескать наземь.

– Но семечко не проклюнется, – настаивал странник, – ведь даже сорной траве она нужна. Правда, надеется ей остается лишь на саму себя, но все же без полива никуда!

Бертрам, рассудив здраво, что странник так просто не отвяжется, да и предприятие вполне могло ещё выгореть, открыл серебряную фляжку, где хранил остатки надежды и вылил ровно половину от имеющегося. *Целую половину! Как же так? Ею можно было упиваться не один день, неделю, не меньше! А сейчас вся эта драгоценная влага ушла в песок. Не хватит её, совершенно не хватит для семечка. А вот сделать пару освежающих глотков – того уже не случится. Всё зря, чертовски зря!* – примерно так думал в тот момент Бертрам, но вслух сказал другое.

– Будем надеяться...

И надежда оправдалась. Через каких-то пять секунд проклюнулся росток, и был он совсем не зелен и не бордов, и не был он окрашен никаким другим природным цветом, а был стальной, как по наружности, так и по содержанию. Через следующие десять секунд он вымахал по пояс, чуть не оцарапав замершего в восхищении Яркого Ворона топорщащейся металлическими лезвиями цветочной головой. Далее, с тем же периодом в десять секунд стали проявляться в набухшем незрелом ростке удивительные, не свойственные ни одному природному созданию черты: то округлится колёсико, то проступит чудной игрушечный руль, то цепь, еще

пока не посаженная на беззубые звездочки, шевельнётся в резиновой листе, то колкие, пока еще безобидные, но уж вовсю готовые встать на положенное место спицы ощерятся своими игрушечными копьями на зрителей, тем самым говоря: не трожь малютку, пока не вызрела, а уж, как созреет, тогда и срывай, колеса надувай и кати куда надумал. Зрители и не собирались срывать недозрелое чудо, а только безмолвно наблюдали за тем, как зарождалась новая велосипедная жизнь.

– Это мой велосипед, хо-хо! – заворожённо прошептал Бертрам. – Но какой же он маленький. – Затем опомнился, подобрал отвисшую челюсть, для приличия пару раз фыркнул – что же без дела пропадать замечательному шнобелю – и сказал неожиданно резко, даже как-то обреченно: – второй мне ни к чему, мне бы с первым совладать.

Но странник и не думал дарить ворону очередной велосипед. Он нужен был только для эксперимента. Этот экземпляр должен был пройти все стадии созревания, а в дальнейшем, поспев и отвалившись от металлического стебля, очень быстро прожить свою коротенькую жизнь, тем самым раскрыв невольным натуралистам все свои вело-тайны. А в особенности ту, которую подразумевал в нём рассказчик.

– Зачем это? – с тревогой спросил Бертрам. – Мне не хотелось бы видеть, как стареет мой друг, а тем более умирает. Можно ли обойтись без этого?

– От меня уже ничего не зависит, осталось только смотреть. Иначе вы никогда не узнаете самую большую его тайну.

Бертрам горестно кивнул, не забыв обреченно хлопнуть носом. *Всё это, мой злой доктор, не хо-хо.*

А вызревший плод тем временем отделился от успевшей покрыться ржавой коркой веточки, загарцевал, как если бы обладал собственным разумом и волей, пошел в присед – разминал пантографические механизмы, взметавшие его на высоту полноценного двухэтажного дома, да с потолками в два человеческих роста, да с ажурной пухленькой крышей. В общем так высоко, что и не зачем бы, а вот имелась такая особенность. *И зачем велосипеду быть таким уродец, когда можно просто катить на своих двоих?* – подумал странник, но ничего не сказал, а продолжил смотреть. И правильно сделал, потому что ответ скоро нашелся. Вернее, велосипед дал его сам.

Вся молодая, озорная, полная играющих и кипящих жизненных соков конструкция, уже успевшая утвердиться на высоте вдруг рухнула вниз, но не осталась недвижно пребывать на новом месте, а расправила неизвестно откуда появившиеся крылья.

– Ох, хо-хо! – простонал Бертрам.

– Ха! – победоносно воскликнул странник.

Но больше никто не посмел издать ни звука. Оба продолжили бездыханно взирать на разворачивающееся представление.

Велосипед, завращав педалями, покатыл по вязкому песку. Если бы не гигантские крылья, с каждым новым взмахом всё больше и больше отрывавшие его от земли, то наверняка ушел бы туда по руль. А так он, лишь изредка, легонько касаясь барханов колесами, несся над пустошью, *как очумевший от голода коршун, готовый набросится на первый встречный трупики тушканчика, а если не будет такого, то раздерёт в клочья и живого.* Велосипед, откликаясь на мимолетную фантазию рассказчика – «обернулся» на зрителей, и, кажется, как-то плотоядно улыбнулся. Странник улыбнулся ему в ответ. *Да уж, ты, парень, тот ещё фрукт.*

Фрукт, не желавший больше скрести пузом о землю, взмахнул крыльями сильнее обычного, и оттого взлетел так высоко, что скрылся за низким облаком. А потом, нарезвившись в неведомых далях, напорхавшись в запредельных высях, камнем рухнул на землю. Но остался цел, потому что затормозил перед приземлением. Он совсем не собирался разбиваться, а лишь хвастливо демонстрировал свои возможности примолкшей в восхищении публике. Велосипед был молод, силен и полон неуёмной, жаждущей неба жизнью.

Но вдруг что-то произошло. Что-то жуткое сделалось во внутренностях до того идеального крылатого аппарата. Металлическое оперение стало осыпаться, как листва по осени, красочный слой растрескался и разлетался пестрой стружкой. На раме появились вздутия и наплывы, как если бы это был человек, стремительно переходящий из молодости в ту самую пору, когда рамы уж больше не тонки, не изящны и вовсе не соблазнительны, а вызывают отвращение своей одутловатостью, бесформенностью и морщинистостью. Велосипед постарел.

Вот уже он совсем древний старец. Крылья его, лишенные прежнего стального оперения, безжизненно волочатся за еле катящимся скрипучим тельцем. Еще миг и велосипеда не стало.

Бертрам плакал. Тихо, без рыданий, скромно утирая платочком раскрасневшиеся глаза, совсем позабыв о клюве-носе, из широких ноздрей которого текло обильно, не сдерживаясь, как в последний раз.

– Зачем вы мне это показали? – безжизненно проговорил он. – Мне больно видеть, как умирает мой друг.

– Что же ты раскис, Ярворчик? – невесть откуда взявшийся веселый тон странника, можно сказать даже какой-то карнавальный, разительно отличался от траурных завываний ворона. – Брось, это не твой велосипед только что дал дуба. Разве не помнишь, что это все шаманство, колдовство? А твой дружок жив-здоров, ждет тебя вон там.

Странник театральным жестом указал на стоявший на рельсах велосипед.

Бертрам, издав самое настоящее «Карррр!», кинулся к своему обездоленному транспорту, стал гладить его, даже целовать, выговаривая жаркие признания, какие другой любовник не найдет в себе силы зародить, и уж тем более выказать с подобной же горячностью и чистосердечием. Он прямо-таки повис на велосипеде, не желая выпускать из объятий обожаемого друга.

И тут что-то щелкнуло в стареньком аппарате. Велосипед опять взметнулся на верхотуру, унося с собой зазевавшегося хозяина, но пробыл там совсем недолго, потому что в другое мгновение из переплетений реечек, тросиков и стальных лент выпрыгнули два мощных крыла – совсем такие, какие были у прежнего «демонстрационного образца», мгновение назад скоропостижно скончавшегося. И понесли они одуревшего от счастья Бертрама в небеса.

– Хо-хо, мой дорогой до-о-октор, – кричал он радостно и звонко, – спасибо вам, спасибо!

4

Бертрам улетел. Казалось так давно, что уж не стоило вести счет дням, прошедшим с того момента – неприлично много их набиралось, а вот если кто-то, все же, потрудился бы это сделать, то с удивлением признал бы, что случилась с миром какая-то странность. И заключалась она в том, что, не смотря на все чувства, уверенно заявляющие о непрерывности и скоротечности времени, дни, как и более мелкие его составляющие – часы с минутами – никуда не убывали, а топтались на месте, всем своим деловым видом показывая какие они занятые и бойкие ребята, мол спешат и мчатся они, как и встарь, неудержимо, будто это не с ними, трудягами, стряслась беда, а с невнимательным и вздорным наблюдателем.

Не тот нынче наблюдатель пошел, ох, не тот! Здесь ему время остановилось, там ему дорога бесконечная. Скажешь ещё вороны над пустошью на крылатых велосипедах парят? Уморил, на повал убил, шутник! Рассказывай свои небылицы кому-нибудь другому, а нас, часиков да минуток, оставь в покое. Нам ещё в дни слагаться. Отстань, назойливый человек, заняты мы!

Странник и не думал беспокоить ворчунов, пускай болтают хвастуны и лицемеры, что им в голову взбредет. Но бесконечный, бескрайний безбрежный день, тем не менее, не думал завершаться. К тому же замер он, как на зло, в самом прескверном зените, когда всякий ценящий свою жизнь обитатель пустошей стремился укрыться от назойливых солнечных лучей то под камушком, то в тени кустиков. Когда светило, уж заполучив неосторожную животину себе в душные объятия, в мгновение ока сотворяло с ней страшное, да пострашней любого ночного бандита, потому что было яростно, неугасимо, вечно.

Странник напоил Участь, которая почти оклемалась после волшебной таблетки, выпил сам, разделил с ней остатки прихваченной с обеда «небесной» буженины. *Эх, разлечься бы сейчас в густой тени,* – подумал странник, но не стал тревожить непочатые короба с придумками, чтобы организовать соответствующее требуемой тени раскидистое дерево. Не так уж много их осталось – придумок этих. А соорудить новые, если подступит беда, будет не с руки. Рассказы так не сочиняются, им зернышко подавай, поливку, подкормку, а потом еще время удели – всё как с любым растеньицем. Поэтому, кинься так куда-нибудь неподготовленным, то может готовой идейки не оказаться под рукой. *Крепись, Участь, будет тебе деревце, но попозже! Ты нынче крепенькая, и не такое перенести сможешь. А со мной уже всё понятно. Какой есть доплетусь, а нет, так оставь меня, моя верная подруга!*

– Пойдем, – привычно бросил странник вместо той околесицы, что секунду назад пришла на ум. Или не секунду? Похоже было, что длилась она куда как дольше положенного, больше напоминая пару минут. Собака же, благожелательно выслушав этот длиннющий монолог из одного слова, всё же не сдвинулась с места, а уставилась в ту сторону, откуда они пришли.

– Что там, Участь Роковна? – Так уважительно, хоть и в шутку, странник называл предупредительную Участь, когда она совсем зазнавалась и, учуяв малейшую, не стоящую никакого внимания опасность, типа тех самых укоризнных змеек, преграждала собою дальнейший путь, протестуя лежачей забастовкой, нудно, настырно выла и облаивала несмышлёного человека, не умеющего загодя оценить грозящую опасность. – Нам надо идти, а ты опять за своё.

Но собака была непреклонна. Она не стала ждать, когда же хозяин наконец сообразит, что нужно бежать, а кинулась к нему и стала тянуть прочь от железной дороги. Прямо так – ухватила зубами за штаны и нежно, но настойчиво повела, как несмышленного малыша за собой.

– Куда же? Куда ты меня тащишь, вздорная мадама? – посмеиваясь, говорил он собаке.

Собака же, поддавшись животному страху, зубы не разжимала, штанину не отпускала, дрожа от волнения и нехорошего предчувствия продолжала свой скорбный труд. *Не противься,*

дурак, – будто слышалось в её озабоченном рыке, который больше походил на хрип, – для тебя же стараюсь. Чую я беду.

И беда, действительно, могла приключиться с друзьями, не уберись они вовремя с рельсов.

Грохоча и повизгивая, выдувая черные трубные пары, мимо пронесся поезд. Но совсем не обычный, как те, что помнил странник – узенькие, с унылыми окошечками, с утлой дверцей, и не дверцей совсем, а, считай, люком, а был это целый дом на колесах: с парадным колонным подъездом и мраморной шербатовой лесенкой, что почти скребла по железным путям; далее шли три высоких этажа, то ли придуманных для каких-то гигантов, то ли для коротышек, желающих почувствовать себя гигантами; из пузатой, будто вспученной дрожжевой закваской крыши вырастала стройная башенка, обрамленная по краю зубцами. На самой её вершине кто-то стоял. Рассмотреть его было невозможно, но страннику показалось, что было у него что-то в руках. И на миг это что-то оказалось ружьем, но тут же нелепый страх прошёл, оставив странника пребывать в задумчивости и удивлении от увиденного дома на колесах. И был это не просто дом, не хибара, не избышка, не сараюшка, а целое поместье. *Зачем приделывать к такой громаде колеса? Надо бы узнать у того странного человека, который держит в руках... Нет, глупости, не будет же он направлять на меня...*

Ружьё! Это было самое настоящее ружьё. Еще мгновение и раздался выстрел.

Пуля угодила в песок совсем близко от правой лапы Удачи. Та по-бабьи взвизгнула, но отходить от взметнувшегося песчаного облачка не стала. И не такое она переживала за свою длинную собачью жизнь.

– Не стреляйте, – завопил не своим голосом странник, – мы безоружны, – а потом, чуть подумав, добавил – и безопасны.

И бесполезны. Так он никого не защитит. Если в тебя стреляют, то лучше убежать и найти укрытие, чем вступать в переговоры с любителем сначала пальнуть, а уж потом задавать вопросы.

– Мы простые путники, идём... – Странник не сразу смог продолжить, потому что, как оказалось, что до сих пор не понимал куда на самом деле они направлялись. – Пытаемся убраться из этих проклятых земель.

– Не выйдет, – раздался хриплый, иссушенный жгучим солнцем и продутый всеми восьмью ветрами голос. – Отсюда нет пути назад. Просто остановись и сдохни с достоинством.

Страннику категорически не понравились эти слова, даже не сказанные, а выплюнутые новым знакомым.

– Вас не учили вежливости? – начал свою наставительную речь странник. – Как же это неучтиво – сперва стрелять, а потом заводить разговор.

– Стало бы тебе легче, если бы я крикнул «Привет» и тут же всадил пулю в лоб? Был бы я тогда для тебя достаточно вежлив?

Странник замялся, не находя ответа, но всё же проблеял.

– Как-никак мы с вами здравомыслящие люди, и не хотим причинять никому необоснованного вреда...

– Необоснованного? Основание есть: убить тебя будет лучше для тебя же самого.

– Почему же так, когда я жить хочу? – мрачно поинтересовался странник.

– Потому что ты дурак, которому ещё невдомёк, что он уже труп, только пока живой.

Странник заколотил себя по ляжкам и бицепсам.

– Да ладно вам, в какую же нелепую игру вы играете! Вот он я, живой, ни разу не мертвый. Вот моя собака, она тоже вся из себя живая.

Незнакомец на башенке примолк, будто обмозговывал неожиданное известие. Видно, до этого ему не попадалось живых, вот он и ерепенился. Но сейчас-то, когда было сказано и пока-

зано, что никакие они не мертвецы, он поймет свою ошибку и отведёт ружьё. Но тот, на миг опустив ствол, снова вскинул его и прицелился.

– Не-нет-нет, добрый хозяин, – зачастил странник, заслоняя собою заливающуюся лаем Участь, – мы живые, безвредные! Будь ты проклят, безопасные! – Последнее было сказано совсем без трепета, но с великой злостью на неисправимого дурака, который из-за неразумной своей уверенности готовился лишить путников жизни.

Прозвучал выстрел.

Странник зажмурился, затаил дыхание, не смея пошевелиться. *Попал, злодей, точно попал*, – металась в голове одинокая воспаленная мысль, – *стоит мне только двинуться с места, как повалиться кишки из разорванного брюха*. Но страшнее всего сделалось от мысли о смерти Участи. Всё человек может перенести, и даже собственная кончина не так ему печальна, как потеря единственного друга. *Только бы меня, только бы меня*, – молил неведомых властелинов этого мира странник. Но властелины не послушались. Пуля попала не в него.

Где-то сзади заскулила Участь, хоть, казалось, не от боли, но от ужаса. Кто знает этих собак – как они, на самом деле воют при смерти. Может именно так, как сейчас?

Странник обернулся. Перед ним стояла гора тухлого бесформенного мяса, перемешанная с древним истлевшим тряпьем. Когда-то это был человек, понял странник, но что делает этот безобразный труп здесь в пустоши, а тем более, прямо у него за спиной?

Участь, отошедшая от первого шока, залаяла уже требовательней, а потом и вовсе затрахтела воинственным надтреснутым рыком. И страшен он был не сам по себе, а оттого, что издавала его именно старуха, от которой не ждешь ничего, кроме ворчливого бормотания и слезливого лая.

Жива, глупенькая! Жива!

Странник, ничуть не пугаясь приближавшегося нечто, хоть и получившего пулю, но всё также неумолимо напиравшего, кинулся оттаскивать разбушевавшуюся защитницу.

Не время сейчас геройствовать, дорогая. Пожалей себя.

К тому же, что это за существо такое было, которому ни по чьм пуля? Откуда оно взялось прямо у них за спиной? И кто этот стрелок? Он явно видел раньше этот ходячий кусок гнилья, поэтому так уверенно выстрелил.

– Отойди, молокосос, – только успел крикнуть хозяин поместья, как ружейный грохот в очередной раз прокатился по недвижимой, уснувшей летаргическим сном пустоши. Пуля попала точно в голову чудовищу, конечно, если то была голова. Оно отклонилось назад, качнулось на пятках, даже не пытаясь балансировать, и с мокрым всхлипом, как если бы это бугристое, аморфное, но все же тело было не из плоти, а из воды, рухнуло на спину. Тут же всё оно, до этого имевшее хоть какую-то форму, раскисло и стало быстро всасываться жадным до влаги песком, оставляя белеть на солнце груды хрупких косточек. – Так тебя, дрянина дерьмозада, лужа соплей, а не монстр! Сдохни уже и больше не воскресай, мешок ты жареных какашек!

Странник медлил, не смел двинуться с места. Вдруг стрелок еще не закончил, и для него, что живой человек, что ходячий мертвец – всё едино. И тут он не преминет уложить второго нарушителя? Только нарушителя чего? Если спокойствия, то странник несколько на дебошира и бандита не походил, если частной собственности, то домик тот прикатил по железке к нему сам. Никто не хотел куда вторгаться.

Странник решил, что нужно бы просто безмолвно ретироваться, пока не стало поздно. Он двинулся. Его мигом настиг резкий оклик стрелка.

– Стой, гадёныш! Ты кто такой, и чего тебе от меня надо?

Странник замер, не смея противиться желанию человека с оружием, но отвечать не стал. Ему равным счётом ничего не требовалось от безумца. О да, это был самый настоящий безумец, потому что зачастил он тут же о совсем диких глупостях.

– Зачем приперся ко мне? Коллекцию мою хочешь стырить? Вижу твои жадные глазюки. Чего молчишь? Вычислил я тебя, а, дырка на ножках? – он секунду подождал, не поинтересуется ли кто, отчего же «дырка», но не услышав нужного вопроса, все же ответил: – а потому что разворотит тебя моя пуля до нельзя, и ничего в тебе выше причиндал не останется, кроме дырки. Вот и будешь ты бегать и безголосо вопить «помогите мне, дырке на ножках, а то я совсем одырела!».

Участь озабоченно глянула на хозяина.

Хочешь я ему руку за такое отъем? – был в том взгляде вопрос.

Странник только мотнул головой и осадил жестом мстительную заступницу. Старушка с облегчением послушалась, высунула язык, коротко и часто задышав, и уставилась на небо. Видимо, гадала какая же очередная вкуснятина оттуда свалится на ужин.

– Куда ты идешь? – спросил хозяин поместья, уставив ружейное дуло на растерявшегося путника.

– Я толком и не знаю, – был краткий, но правдивый ответ.

– Ишачья сранина это, а не ответ. Думай другой! У тебя есть на это семь с половиной секунд.

Почему же именно семь с половиной? Почему не восемь, или шесть? А лучше десять. Ведь всегда дают ровное число.

– Ну что, надумал? – спросил стрелок через минуту. Через целую минуту! А ведь прошло в этой минуте не больше трех секунд, а уже округлилось все до шестидесяти.

Как же такое могло случиться? Ведь не закончился отведённый срок. И закончится ли когда-то? Не стукнет ли на седьмой секунде час, а еще через половину секунды год? Очень похоже на то.

– Почему так долго длится время? – неверным голосом спросил странник. – Твой срок еще не настал, а так много уже прожито.

Стрелок убрал оружие, но требовательный тон не сменил.

– Парень, я разве тебя об этом спросил? Не твоя сейчас очередь, а моя.

– Какая очередь?

– Спрашивать, бестолочь.

Странник ещё раз сказал, что не знает. Но потом вдруг напрягся, скривился в лице и что-то пробормотал под нос. И вполне смог бы его собеседник разобрать эти слова, но неожиданно налетел ветер и унес новорожденные слова. Слова, как показалось самому страннику очень важные, важнее всех до того говоренных. Но как же подло они были сорваны с его уст!

– Да будь ты проклят, – завопил дурным голосом хозяин поместья, – сатанинский пердеж, а не самум!

Странник невольно растянулся в улыбке, наконец поняв то, о чём уже давно сообразила старая премудрая Участь – ворчливый и злобливый хозяин поместья не был опасен. На самом деле он оказался радушным хозяином. Настолько, насколько может быть радушным злобный карлик по имени Скурк.

5

Жил он в своем поместье один, но так было не всегда.

– Звали мою жёнушку Ольга, Олечка, любимая моя, ненаглядная. – Скурк жадно отхлебнул из блюдца исходящий паром чай. – Жили мы ладненько, душа в душу. Я был добряком-великаном, а она ожившей загадкой, чистейшей, несравненной красотой. Таких женщин больше не сыщешь, даже если пересечёшь пустошь во всех её направлениях, даже если обогнешь безбрежный лес, либо насквозь его пройдёшь – всё не те будут попадаться, бабы да девки будут, а эта – красота. Тут не убавить, не добавить.

Скурк коротко и подозрительно глянул на гостя, который также пытался остудить невыносимо жаркий чай, и во взгляде этом читалось: *только посмей вставить отсебятину, типа «была у меня одна знакомая», «а вот у моего дружка»...* Странник не стал ничего вставлять, а только почтительно кивнул.

– Ты не думай, что когда я говорю «красота» – это так, от нечего делать, просто сильное словцо. Нет, тут другое.

Чай в блюдце у странника немного остыл, и можно было безопасно отхлебнуть. Но вдруг он показался совершенно безвкусным, будто бы и с намёком на прежний вкус, но был нынче какой-то невзрачный, совсем недалеко отстоящий от обычного кипятка.

– А ты думал! – Скурк подмигнул растерянному гостю. – Тебе здесь не тогда. А в этом здесь только сейчас и водится, а что ты в сейчас можешь выловить? Его в жизни совсем незаметно, в нем ничего толком не распробуешь. Всё всегда на потом переносится, как вкусы, так и любые другие радости, и только в этом самом потом наше счастье кроется. Понял? Поэтому пей, дрогой, и представляй, что ты уже там, тогда сидишь, с послевкусием на языке. И радость от чайка имеешь. Представил?

Странник вновь кивнул, но больше отпивать не стал.

– Вот и молодец, – продолжил Скурк. – Слушай дальше. Я про красоту тебе говорил. Не просто словцо это раде словца, а была Оленька истинной красотой, из многих мест отнятая. Погоди ты глаз шурить, рожа ты пустошная! Сейчас поймёшь, о чём толкую. Была у меня мамка, всем мамкам мать, боевитая, разухабистая, Великаншей Тив звали. Она, родив меня, поклялась землёю предков, что под корнями великих миро-держательных елей лежит, своею жизнею поклялась и счастье моё на кон поставила. А клятва та была страшна и исполниться задуманное вряд ли могло у обычного человека. Но Великанша Тив была не проста, умна сверх меры, хитростью сравнима с северными ветрами, что чудесным образом прорываются на знойный юг, не растеряв ни толики присущей им зяби. Вот такая была у меня мамка. Постановила она, что сын её единственный счастливым сверх меры стать должен. А вот через что мне такое счастье поймать надлежало, то уж ей решать. Не мне же! Где это видано, чтобы великан сам себе счастливый билетик выписать был способен. Эх, выдала мне его мать.

Рассудила она здраво, этого ей было не отнять, что счастье каждого кроется в красоте. Только одному надо ею обладать, да побольше в закрома уложить, а другому и вида достаточно. Я, как не трудно догадаться, был из числа вторых. Чего? Смеёшься? Ну, смейся-смейся, а был я совсем другой – не чета нынешнему. Это сейчас я уродливая полушка, дрянной обрубок, огрызок дурошлепский, злобливец и самоед! Тошно мне до смеха, и от смеха уже тошнит. Так, что готовы нутря вывалится, а сам я вывернуться бы не прочь и шкуркой на солнышке запечься! А тогда, как-никак, другой был...

Чёрт бы со мной тем другим, не обо мне сказ. А о маменьке моей, и о том, как она мне красоты добыла.

Великанша Тив была той ещё пронирой. Смелой была и хитрой. Зная, что красоту обычным камешком на дорожке не встретишь, прошла она к тем её держателям, каких давно запри-

метила. Первым было небо. Да-да, красоты в нем четвероликой до конца концов не выглядеть. И день, и ночь, и закат и восход – всё оно приючало, всё из небесного лукошка по очереди вынимало и людям показывало. Но тут явилась с поклоном и лестным словом мамка моя. Разостлалась вся, разлилась, как полнотелая река, медовыми словесами небушко умастила. То и расплылось, ни разу не слышамши такого залихватского словоблудства. Из лукошка возьми да выпрыгни четыре лика, и давай без очереди, на перерыв представляться и выделяться. И в веселье своем до того дошли, что слились в единое и неделимое целое. Великанша Тив, не будь дурой, подобрала четвероликую красоту, на жалобы и мольбы неба внимания не обратила – сыновье счастье важней, чем слезы какого-то там неба – и довольная ушла прочь от застывшего в уродливой непритязательности горизонта.

Пришла мамка домой, перелила добытую красоту в кукольное тельце, в качестве сосуда для того приготовленное. Заалели у куколочки щечки, словно рассветным румянцем украшенные; белоснежную сделала её кожа, полуденным светом озаренная; не чернотой, но самым ночным мраком пропитались локоны её, а глаза – ах, до чего обворожительными вышли те глазки! – совсем повечерели, сделались синими-пресиними, хоть и немного грустными. Все же, плох тот вечер, который вовсе не наводит тоски. Вечером, стало быть, грусти, ночью рыдай, с утра слезы утирай, а днём пой. Так и вышло, что наделила матушка моя проказница четырьмя ликами болванку. Увидела, что удачно всё вышло, и давай раздумывать о том, что бы еще такое прибавить для полноты. И придумала.

Пришла она к морю, что с берегом спорило, и выкрала у обоих, пока те друг с другом бодались, очарование, приглядность, степенность, простор и волю. В куклу опять все поместила. Какой же эта лапочка прелестницей стала вдруг! С удивлением понял я тогда, что почти влюбился. Почему же почти, а не полностью? А вот сам тогда не знал. Как бы всего в невесте вдоволь, чего б не любить? Но нет, кое-чего не хватало. Великанша Тив знала точно, чего именно. Нашла она это у безбрежного леса, что простёрся от нигде до куда-нибудь. Мудр был лес той мудростью, какая уж совсем не мудростью, но хитростью зовется. Раскусил он задумку великанши, которая также обмануть его, как и других решила. На уловку он не поддался, а вместо красот отсыпал разноцветных камешков, заверив, что красивей украшения для невесты не сыскать. Великанша Тив забрала камешки, смастерила из них для каждого молодожёна по колечку.

Обвенчались мы с моей возлюбленной, уже не куклой, но прекраснейшей из дев, надели друг дружке кольца и стали жить поживать. Да вот добра нисколько не нажили. Что-то в милой моей стало разлаживаться. А с ней вместе и я по наклонной пошел. Уж не буду томить тебя, странник, подробностями, но вышло следующее.

Оказалось, что со всех троих – с неба, моря и берега – мамка моя требовала красоты, как то должно. А вот безбрежный лес удумал проучить жадную Тив, и одарил совсем не драгоценными самородками, а плесневелыми камушками, отчего казались они радужными, но на самом деле были страшным проклятием. Пошла плесень вверх по телу пробираться, нас с женой изводить. Уж никакой красоты не хотелось, только бы уберечься от заразы.

Чего не сняли, говоришь, те украшения? А потому что не снимались. Пристали намертво, ни туда, ни сюда не шли. Так и жили, так и мучились, лесной плесенью гложимые, пока в могилу не спровадили Великаншу Тив. Померла она от горя, видя наше мучение. Сами мы изменились. Был я в давние времена ростом в десять сегодняшних, а прожив полжизни стал таким, какого видишь перед собой. И не то, чтобы плесень изничтожила, это сам я от себя отрезал, чтобы защититься от пагубы. Себя, как смог, сохранил, хоть и ядрышко одно осталось, но всё же нетронутое. А вот Олечку мою, Ольху любезную не уберег. Нет-нет, не стала она уродливее лицом, черновласая моя, волоокая – всё такой же прелестницей осталась, глаз не отвесть. Но случилось с ней то, что никому не пожелаешь – изнутри выгнила, и уж не знал я остался ли от прежней хоть кусочек. Взмолился я всем обманутым матерью моей: небу молился, морю и

берегу, а также лесу. Сжалились они надо мною, забрали украденные свои красоты, но тут же милой моей не стало. Один лишь безбрежный лес шепнул мне на прощанье, что бродит моя любовь безобразным бессмертным чудищем по пустоши, бывшей раньше берегом обманутого моря. Тоскливо влачит она свою бессмысленную жизнь и жаждет лишь одного – отмщения за поруганную свою судьбу. Обитает она под небом омертвелым, лишенным красоты, на котором навечно приклеилось полуденное испепеляющее солнце. А берег умершего моря никогда не закончится, ибо время там бескрайне, как боль, печаль и мука обманутой души.

Скурк, залпом допив остывший безвкусный чай, горестно вздохнул и устало воззрился на странника.

Тот, не зная, что сказать в ответ, спросил:

– Не ваша ли Ольха накинута на меня недавно?

– Она, – просто и даже как-то буднично ответил Скурк. – Поганая гора гнилья! Будь проклят безбрежный лес, заманивший меня в эту ловушку!

– Почему же ловушку? Разве не вольны вы уехать, ведь у вас есть замечательный дом на колёсах?

– Я и еду. Да вот только никуда не едет. Говорю же, все мёртвое здесь, сам мир подох и не выпускает ничего наружу. Ни дом мой вместе со мной, ни мертвячку Ольху. Вот так и катаюсь я туда-сюда, и не знаю до каких пор всё это продолжится.

– Да уж, незадача. – Странник задумался, не в силах сообразить ничего путного, а потом предложил: – что если пузырь этот, в котором все мы застряли, не выпускает нас только потому что мы маленькие, и силёнок у нас немного, чтобы прорвать его стенки?

– Что ж ты такое несешь, себя-то слышишь? Мы с тобой, может, и маленькие, но вот мой дом – совсем другое дело.

Странник разочарованно согласился, но обдумывать вопрос не прекратил. Что-то здесь всё-таки было интересное. Маленькие люди, большой дом, маленькие живые люди, большой мертвый дом...

– А что если сумеет прорваться наружу только нечто большое...

– Так куда ещё больше?! – перебил великан Скурк, негодуя потрясая пухленькими карликовыми ладошками.

– Большое, – продолжил странник, – но живое.

А в этом был смысл. Дом был мертв, хоть и имел достаточную массу, чтобы прорвать оболочку безвременного кокона. Если бы удалось оживить его, хоть на пару мгновений, тогда он смог бы своей тушей прободать путь на свободу.

– Совсем заболтался ты, странник, нет ни у кого такой силы, которая из мертвого в живое переделывает.

– Возможно, и нет. Только зачем же сразу так?

– Как так?

– По-колдовски.

– А ничего другого здесь не применить, только страшное заклятье сработает.

– Много ли вы встречали заклятий, – аккуратно поинтересовался странник, – и колдунов, умеющих их породить, которые способны оживлять гигантские дома?

Скурк на это только промолчал.

– То-то и оно. – Странник прикрыл глаза и изобразил на лице что-то поэтически скорбное. Постояв так некоторое время, и не открывая глаз заговорил: – но вдруг выйдет такое, что никто, ни хозяин, ни гость его, не знали самой большой тайны этого поместья на колёсиках? Всё это время оно было живое!

Скурк отмахнулся.

– Ну тебя, господин мечтатель! Ты меня за болвана не держи. Я хоть и отщипывал от себя по кусочку, но мозги в целости и сохранности оставил. Они мне сейчас говорят, что ты совсем заврался. Либо меня хочешь надурить, либо самого себя. Либо обоих.

– Мне дурить вас, уважаемый великан, не с руки. Мне нужно понять, как вызволить нас из ловушки.

– Так сделай это, господин не колдун!

Скурк злобно «зафукал» на остывший безвкусный чай, но ничего больше не сказал. Отхлебнул и уставился куда-то вдаль, тем самым показывая гостю чего стоит вся эта бестолковая болтовня об оживлении дома. Что бы он, Скурк, мудрейший из великанов, сообразительнейший из карликов, повелся на такую уловку? *Нет уж, мил друг. Странник ты или простой жулик. Допивай халявный чайк, да проваливай, куда глаза глядят. Либо... сделай то, чем бахвалишься.*

Странник не преминул воспользоваться заминкой.

– Всю жизнь прожил многоуважаемый и многострадальный великан в своём поместье. Многие видели эти стены, ещё больше слышали: и радостного, и горестного, и тревожных охов, и нежных вздохов, но и окриков, и гаму было, как у всех, в достатке. Жил дом своею тайной жизнью, с хозяйской непременно переплетённой, но ни одной живой душой непознанной, потому как скрытным был он от природы.

– Неплохое начало. Только хренового в этой жизни было больше, чем хорошего.

– Здесь не так важно соотношение, дорогой Скурк. Такого описания вполне достаточно.

– Подправь, – все равно настаивал великан, – зря я что ли мучился?

Странник не стал перечить.

– Так и быть. В доме этом счастье было не частой гостьей, а залетев трепетным голубком в нечаянно раскрытое окошко, уже не могло вырваться из мрачных стен – билось и трепыхалось в подлых силках угрюмого поместья. Сил выбраться не имело, поэтому от горя и безнадёги угасало. Так пойдет?

Скурк довольно хмыкнул, будто вышеописанные ужасы к нему не относились, а он просто слушал страшную сказочку про кого-то другого.

– Позвольте поинтересоваться, что за коллекцию вы упоминали? – вдруг спросил странник, изрядно озабоченный только хозяину ведомым обстоятельством.

– А это тебе зачем, господин мудрый болтун? То тебе знать не надо.

– Как же не надо? Ведь не сработает придумка, если всего не учесть.

– Лежит коллекция, и пускай лежит. Ты её не тронь, и я тебя взамен не трону. Пиши, помело, живописуй, а неположенного не касайся.

Так и быть. Спорить со вздорным коротышкой не хотелось, да и не безопасно было, поэтому странник завершил рассказ, в котором дом оказывался очень даже себе на уме, и принялся ждать заветного гитарного дзынь. Но ничего не происходило. Вернее, не происходило после дзыня. Магия рассказчика сработала как надо, но действия так и не поимела. Либо поимела, но до определенного времени проявить себя не пожелала.

Такое часто бывало. Казалось бы, вот она красивая, складная, умная история, а ничего не случается. Как будто какого-то винтика не доставало, но нет, все на месте, оказывалось, что всего-навсего время требовалось, чтобы слова подействовали. Может быть и здесь так же?

– Надо подождать, – уверенно, дабы не попасть под горячую руку карлика-грубияна, выпалил странник, – требуемые условия настигнут нас в соответствующее время.

– Пряма-таки и настигнут? – всё равно не унимался Скурк.

Странник напустил на себя загадочный вид, насупился, заиграл бровями, чтобы уж точно поверили, и выдал настолько сакраментально, насколько был способен.

– Он живет! Но жизнью тайной, сокрытой до верного момента!

Скурк не стал выяснять, когда настанет этот момент, и что же в нем будет такого верного, а просто налил себе еще блюдце обжигающего невкусного чая.

– Что уж там, пускай будет по-твоему.

Не успел карлик отхлебнуть из блюдечка, как затрещали половицы дома, пошли волнами стены, сам его затхлый воздух будто уплотнился, сделавшись еще гуще и омерзительней.

Дом действительно ожил, и ему, казалось, было очень дурно.

– Щас блеванет, – констатировал Скурк.

И правда, из каких-то воспаленных болезненных глубин поместья в гостиную, где хозяин угощал путника чаем, был выплюнут некий чемодан. Был он вида жуткого, потому что сработан был из плохо выделанной, морщинистой кожи. Огромный, просто-таки удивительно громоздкий, в холке с жирафа, чемодан. Скорее всего Скурк не врал, утверждая, что в прошлом его знали как великана.

– Как..., что это? – растерялся он, не понимая откуда взялся чемодан.

– Вот и мне интересно, – отозвался странник, внимательно осматривая находку, – откуда это.

– Не твое дело, баснописец! Здесь совсем не о чем рассуждать.

Скурк ухватился за ручку, пытаясь сдвинуть с места неподъемную ношу, но ручка тут же отвалилась.

– Помоги же, олух!

Олух совсем был не прочь оказать услугу гостеприимному хозяину, но у них ничего не вышло. Гигантский неподъемный чемодан не желал сдвигаться.

Как же его так просто вынесло из подвалов? Будто и не весил он ничего, а сейчас невозможно шевельнуть. Что же в нём такого хранилось?

– Давай же, давай, треклятое ты невезенье! – не переставая ругаться пыхтел Скурк.

– Что в нем? – спросил странник.

Скурк пожевал губу, пробубнил что-то невразумительное, но толком не ответил.

– Не даром его вынесло из подвала, дому он явно не по душе. Мне нужно знать, что там.

Скурк, совершенно не замечая назойливого гостя, продолжил пыхтеть над непосильной ношей.

Странник же не стал переспрашивать, а пошёл по своим делам. Дела эти были необычны – он принялся рассматривать шуршащие, словно из высохшей на солнце кожи цветастые обои, украшенные лесными пейзажами: радостными светлыми полянками, мрачными борами и бескрайними волнующимися темно-зелеными просторами. Он смотрел и тихонько нашептывал дому на ухо.

– Вот откуда ты к нам пожаловал, господин дом. Привет тебе!

Дом вздыхал отошедшими лесными обоями на манер пойманной рыбы, требовательно разевающей жаберные щели в надежде отыскать спасительную воду. Дом пробуждался.

Странник знал, что нужно уносить ноги, но медлил. Намечалось что-то во истину интересное, ради чего можно было рискнуть и остаться на подольше. Тогда уж точно всё встанет на свои места.

Дом неожиданно зевнул. По крайней мере так показалось страннику. Дверь медленно растворилась, издав протяжный совсем человеческий стон.

– Надо уходить, достопочтенный Скурк, иначе...

Договорить странник не успел, как по полу прошла судорожная волна, взрыхлив паркетные доски и подбросив чемодан в воздух. Тот, пару раз перекувыркнувшись, очень неудачно приземлился на образовавшийся паркетный гребень и раскрылся. Из бескрайнего его нутра посыпались тела, разные по величине – от карликов, ростом с самого Скурка, до настоящих гигантов, – но имевшие общее для всех лицо гостеприимного, но вздорного хозяина поместья.

– Да что это такое? – не смог сдержать удивление, граничащее с возмущением, странник.

Скурк пытался засунуть всё обратно, но тела были слишком тяжелы, притом некоторые из них были настолько неподъемны, что сдвинуть их было не под силу даже великану. Каким в общем и был сам Скурк, но великанских сил больше не имел. Поэтому нынче ему только оставалось, что пыхтеть над неподатливым грузом, сопеть, поругиваясь, но толком ничего у него не получалось.

– Это ваша коллекция! – сообразил странник. – Коллекция самого себя. Прежнего.

– Молодец, дурья башка, поздравляю с верной догадкой. А теперь помоги мне сейчас же! Либо иди по своим делам и не мешай моим!

– Я бы рад помочь, но видно, что со мной, что без меня – эти болванки не поднять. Как давно вы вскрывали этот чемодан и просушивали свои старые «я»?

Скурк замялся.

– Ну... как это...

– Давно?

– Ни разу, – признался карлик, – а зачем это делать? Лежат себе да лежат, жрать не просят, и мне без них легко и просто живётся.

– Вам-то, может быть, и легко, а вот коллекции вашей совсем дурно сделалось. Тела отяжелели, временем напитались, разрослось в них все то зло, от которого вы свою душу хотели очистить. Стали совсем грузными.

– Это ясно, но что же мне с ними делать?

– А они вовсе не для вас здесь очутились.

– Для кого же?

– Скоро узнаем.

Это самое скоро случилось даже быстрее обещанного. Стонущая дверь вдруг перестала звать и с резким окриком распахнулась во всю ширь, чего дому оказалось явно мало, и он еще больше разъявил входную пасть, разломив в нескольких местах непригодный для этого проем.

– Нам бы отойти, – предупредил странник, – чтобы не зацепило.

Скурк не горел желанием выяснять, кто же его собирается цеплять, но не из вредности, а потому что всё понял сам, согласился с предложением, и больше не прекословил. Он сделал несколько шагов в сторону, все же не отрывая любовного взгляда от бывших «я», и замер в ожидании нового гостя.

И гость этот, не желая никого задерживать, явился довольно скоро. Это был тот самый изгнивший до самого основания, но почему-то державшийся на ногах мертвец, которого недавно довелось повстречать страннику. Оказывается, это была та самая Ольга, она же Олечка, она же бывшая жена незадачливого карлика. Она пришла на запах чемоданного содержимого. И что же она станет делать с этими болванками?

Все оказалось просто – живой труп приступил к трапезе. Отрывая конечности словно куриные ножки, чудище помещало их в разъявленную гнилую дыру, бывшую некогда ртом, а оттуда вынимало уже убеленные временем и могильными насекомыми косточки. Так Ольга поступила со всеми телами, заглотнула даже несколько великанских, появившихся в коллекции самыми первыми. Но примечательней и поразительней всего было преобразование горы гнилой плоти – с каждым сожраным куском мужниного мяса она набирала прежнюю красу. И уже стало ясно, что к концу трапезы превратится мертвячка в ту самую прелестную Скуркову жёнушку, которую сердобольная Великанша Тив вылепила из украденных природных красот.

– Здравствуй, – осторожно пробуя молчавшие столько лет связки, сказала похорошевшая Ольга. Она действительно была несказанно красива: огромные, но не портящие её маленькое точеное личико синие глаза; прелестные губки, цвета разбавленной молоком крови; деликатный носик кнопочкой; а волосы её были прекрасней усыпанной осенней листвой реки. И сама она была такой, в которую нельзя было не влюбиться, ведь всё чудесное, что могло быть в

мире, собралось нынче в одном существе. От истинной, непреложной, необоримой красоты произрастала её суть, ею питалась, но в миг без неё увядала. Так погибла и Ольга, без любви и восхищения чахла до той поры, пока не пришла к отвратительному финалу, к какому придет любое живое существо, даже будь оно самым прекрасным на всем белом свете. Могила не разбирает, кого переваривать. Так и она, обглоданная, объединенная, пережеванная, испитая до суха, гнилой трухой бродила по миру, сама не понимая, чего ищет, но всё время натываясь на мужа, которому без неё совсем плохо сделалось, а с ней и того хуже – как тут ужиться с мертвичихой. Никак. Вот и гнал от себя Скурк загробное видение. А чем дальше гнал, чем больше свинца в него всаживал, тем больше убывало самого Скурка, в пресловутый чемодан складывалось, чтобы однажды, как говорил он себе сам, вскрыть его и вновь прирасти отторгнутым. Только не наступала эта блаженная минута, и часу верного на находилось, а вместо того всё разбухал чемодан из причудливой морщинистой кожи, нужной только для того, чтобы вынести это самое разбухание. И копилось в нем Скурков, пригодных на любые случаи: хоть для жаркой юной любви, хоть для тихого семейного жития, хоть для беззлой старости. Вот только для чего же всё это богатство, когда нет рядом той самой, для кого оно сколачивалось, по крупинке нарастало, в жемчуга обращалось, на нитки нанизалось, и до заветной поры укладывалось?

– Спасибо тебе, мой храбрый, добрый великан, – не сказала, но словно выдохнула Ольга, и ветерок её слов прошелестел по гостинной, укутав странника и Скурка нежностью и покоем. – Ты сохранил всё прекрасное, чтобы вернуть меня. Это великая жертва.

Скурк, захлопал носом, закивал, протягивая к любимой руки. Но Ольга не спешила в его объятия.

– Прости, любимый, но больше не принадлежу я тебе. Как бы не томила в сердце моём любовь к тебе, не в силах я её отпустить на волю. Когда бы сделала я такое, то не стало бы меня в тот же час, ибо никакой сути во мне больше не живёт, и лишь в любовном томлении, в неизлитой своей нежности я жива. Поэтому не умерщвляй, мой милый, душу полупустую, не требуй пролить ничтожные капли. Страшусь я иссохнуть вновь. Ужасна, омерзительна судьба, которой жила я все эти годы. Не хочу умирать, не хочу жить мертвой. Позволь унести прежнюю привязанность и тепло от образа твоего, дай сберечь их в сердце, уж так и этак могильным червем изъеденном.

Скурк, не веря страшным словам уже не кивал, но только беспомощно мотал головой, отгоняя сумрачное видение.

– Ты был обманут Великаншей Тив, как и я, созданная лишь для одного – любви к тебе. Но не ведала наша безжалостная мать, что любовь и красота, не могут изливаться вечно. Когда-то придет конец этому потоку, если не будет он подпитываться в своем верховье маленьким ручейком надежды. Её-то и не было у нас, мой несчастный Скурк. Этого ручейка мы не зародили.

Скурк, утерев слезы прошептал что-то совершенно неразборчивое, но странник понял, что было это жалобное «Останься!».

– Не могу, – мучительно проговорила Ольга, – от тебя, мой храбрец почти ничего больше нет, ты отказался быть великаном, и во имя любви ко мне сделался злобным коротышкой. Но что же случится, останься я рядом? Не допью ли я до дна все расчудесное, что в тебе еще осталось? Не доем ли те жалкие крохи, которых тебе самому мало? Знаю, что не станет тебя тогда вовсе, закончишься ты, и будешь мертвецом, кем была я до того. И кем стану вновь, когда исчерпаю я тебя. И тогда будем мы вместе изголодавшимися мертвецами бродить по бесприютной земле в поисках красоты, которую могли бы пожрать, чтобы продлить свои бесполезные дни. Но даже осознав тогда себя живыми, мы утопали бы в сожалении о том, что не отпустили друг друга. Мы корили бы себя за преступный голод, мы страдали бы, как не страдал ещё никто на земле. Отпусти же меня, позволь нам жить жизнью не ходячих трупов, но всё еще людей.

Скурк, заливаясь слезами, яростно тёр мокрое лицо и лишь мотал головой, как умалишенный, и казалось будто не мотание это а разъяренное бычье бодание.

Прекрасная Ольга подступила к мужу, распростерла объятия, но Скурк, будто не веря в происходящее, и от того еще более свирепея, не хотел ступить к ней на встречу и шага. Всё стоял и повторял себе под нос: «Нет, нет, нет!». А Ольга, поняв, что твердолобый карлик не сподобится прийти сам, все же подступилась к нему. И подойдя совсем близко, сомкнула нежные объятия, словно спасительным теплым одеялом укутала мечущееся от озноба малюсенькое тельце бывшего великана.

– Я искала не прощение, не любовь, но то, что нужно каждому умершему и воскресшему в новой жизни, – сонным осенним ветерком прошелестел голосок Ольги, – я нашла покой.

– Олечка, Олюшка, Оля... – бормотал Скурк.

– И я хочу поделиться им с тобой. – Сказав это, Ольга поцеловала мужа, который от этого поцелуя тут же обмяк, перестал дрожать, а во взгляде его, более не метушемся, но умиротворенном, поселилась хрупкая надежда. – Так то лучше, мой любимый Скурк. Впрочем, не желаю я больше звать тебя этим злым именем. Пусть будет тебе новое имя. Ты будешь зваться Великаном Доброе Утро. – Ольга игриво заулыбалась, будто была совсем девчонкой, но до чего же ей шла эта улыбка, пусть всегда бы так! – Проснувшись рано-рано я буду подходить к ручью и говорить ему «Доброе утро!», буду того же желать и полянке, и бору, и тропинке, и всем встречным лесным обитателям. И буду я тогда искренна в своих пожеланиях, и буду говорить с любовью, светлой о тебе памятью рожденной. Потому что каждый раз будет звучать твое новое прекрасное имя – Доброе Утро.

Скурк, который уже не был Скурком, а стал Добрым Утром, скромно и неумело улыбнулся. Надо отметить, что это была его первая улыбка за много лет.

– Мне нравится, – стесняясь произнес он, а потом спохватился, – но где будешь ты, моя ненаглядная?

Ольга улыбнулась так широко и так призывно, что Великан Доброе Утро совсем залюбовался этой прелестной игривой лисой, и стоял бы так еще долго, но все же тревога за любимую пересилила.

– Я буду там, где есть для меня красота без числа и счета, там, где никогда не кончится она, а значит и я сама буду жить до тех пор, пока не наступит конец этого славного места. Там, где над вечнозелеными хвойными волнами в алеющем закатном небе парит робкий юный вечер, и в юности своей он прекрасен и желанен. А где-то там, за горизонтом притаилась капризная старуха, от которой порой совсем не допросишься сна, а в другой раз спишь мертвецом, и страшно становится – проснешься ли вовсе. А потом снова солнышко! С твоим, любимый мой, ликом. Доброе Утро!

С этими слова Ольга развернулась к украшенной живописными обоями стене, стала так близко, что почти задевала её носом. А потом, того пуще – сделала шаг. Казалось бы некуда, но пошла, и не останавливалась, пока не очутилась в нарисованном безбрежном лесу.

Маленькая женская фигурка на полянке перед дремучими зарослями остановилась, махнула ручкой на прощание и скрылась в заволновавшемся вдруг зелёном море. А вокруг был тот самый расчудесный вечер, которым можно было любоваться до скончания веков.

Страшный хруст вывел из оцепенения странника и Великана Доброе Утро. Они переглянулись в нерешительности, и стали глазеть по сторонам в поисках источника шума. Оказалось, что треснула стена, которой они любовались. Вслед за ней пошли трещинами и другие стены длма. А потом совсем худо обернулось дело – с потолка посыпались камешки и песок. Дом разваливался! Осознав это, странник не стал мешкать и, подхватив на руки обомлевшего «великана», который, к слову, ничуть не подрос, хоть и сменил имя, и рванул к выходу.

Успели как раз вовремя. Дом обрушился в один миг. Но вдруг из этого месива кирпичей и досок, что образовалось из бывшего величественного поместья, растеклось нечто. Краска ли,

водные ли потоки, а может, сам сгущенный свет, но хлынул он так живо, что затопил округу. Заполнил пустошь, поглотил её, залил зеленью и желтизной, алым, бордовым, голубым и фиолетовым. Все эти краски, до того бурлившие в одном потоке, разделились, и каждый ручеек понёс свой цвет к нужному кусочку нарождающейся картины: фиолетовый и голубой – к небу, туда же все закатные тона, всё зеленое, желтое и кленово-алое – к лесу, черное же растеклось угрожающей акварельной кляксой на горизонте – оттуда катила та самая непредсказуемая ночь. Дома на колесах больше не стало, но он все же доставил своего хозяина к нужному месту.

Станция «Безбрежный Лес» – гласила надпись на покосившемся деревянном здании вокзала.

– Приехали, – задумчиво сказал странник.

– Вот вам и доброе утро, – согласился с ним великан.

6

Распрощались странник и великан скоро. Скурк, обшарив прилегающую территорию, отыскал старенькую дрезину и продолжил свой путь, но уже по лесу, который оказался тут как тут, стоило только развалиться его поместью.

Странник бросил ему своё сухое «спасибо, что подвёз», а также «ещё увидимся», и проводил взглядом отчаливающего от берега задумчивого и молчаливого уже не Скурка, но еще не Доброе Утро, и пошел осматривать вокзал, что маячил неподалеку – продолговатый дощатый домик, как-то очень скромненько приютившийся на обочине великого железнодорожного тракта.

Вокзал был пуст. Не мудрено. На что же рассчитывал странник? На толпы путешественников, ждущих отправления своего поезда? На родителей, везущих ненаглядных чад на все каникулы к бабушкам и дедушкам? На пьяненьких и оттого говорливых командировочных, которые своими басовитыми бу-бу-бу отвлекали бы от изучения благообразными отцами семейств захваченных с собой в дорогу древних газет? А может на неугомонную детвору, занятую сочинением новых игр, потому что старые были уже по сто раз переиграны, и требовалось придумать что-то новенькое, чтобы совсем не спятить от томительного, душного, полуобморочного ожидания? Ведь не рассчитывал странник на скучающую в газетном ларьке дородную, как сказали бы раньше, дебелую тётку, которая, казалось, поселилась там еще юной и прекрасной девой, но, прожив свою нелегкую газетно-журнальную жизнь и набрав даже не килограммы, а проклятые пуды, больше не могла покинуть свой пост, потому что не проходила в двери. Не думал же странник увидеть сестру её по несчастью, но уж засевшую в кулинарии, и пропахшую не печатным словом, а прогорклым, но от этого не менее соблазнительным чебуреком. Надежды на то не было, но в то же время все эти образы невесомыми призраками бродили по вокзалу, жили скудными в отдельности, но причудливыми и богатыми в сложении с другими такими же призраками жизнями.

– Он мнется, – послышался тоненький голосок, как если бы звучал у самого уха.

– Да нет же, не мнется, а чурается, – вторил ему другой не менее самоуверенный писк, – где же вы видели такого мнущегося. Только у чурającegoся так ходят желваки и насупливается бровь.

Не заставил себя долго ждать и третий голос, чуть ниже остальных, ворчливее и бескомпромиснее. Такой мог принадлежать отцу невидимого семейства, либо даже деду.

– Не мнется и не чурается, дуры вы сошки – раскурочены бошки, а диву дается. Не так ли, дивун? – Последнее относилось, несомненно к страннику, его обозвали «дивуном» и требовали согласиться.

Он согласился. Незачем расстраивать невидимый, скорее всего магический, а оттого опасный народец.

– Угу, – кивнул странник, чтобы уж точно стало понятно, что он не против быть «дивуном».

– Так не честно! – завопил первый, самый писклявый голосок. – Это давление на мнутика!

С ним стал спорить второй.

– На чурика!

– На дивуна, вы имели ввиду, – поправил дед.

И все невидимые спорщики кинулись в драку. По крайней мере так казалось по звуку. Они тяжело охали, шумно и злобно клацали зубами, перепрыгивая с места на место – видно пытались укусить друг дружку. Но из туго сплетенного клубка ругани, вздохов и стонов стран-

ник понял, что драка была делом хоть и не шуточным – все же кому-то досталась парочка тумачков, – но привычным. Поэтому совсем не опасным.

– А давайте спросим у него самого, – предложил один из тоненьких голосков. Другой с ним согласился, дед скрипуче, но согласно крикнул. – Скажи, как тебя называть? Мнучик, чурик или дивун?

Обращались явно к страннику. Он не стал тянуть с ответом, а то мало ли чего – вздумается ещё мелким невидимым бестиям его проучить, тогда уже поздно будет их задабривать. Стоило вступить в контакт сейчас и выяснить что им было надо.

– Я скорее..., – он замялся, подыскивая нужное слово, – бредун.

– Вот, – тут же вступил дед, – я же говорил, что он дивун.

С ним опять стал спорить самый писклявый призрак.

– А чего это дивун, когда он бредит, а не дивится. Это разница, и большая.

– Для вас разница, а для меня одно и то же, – настаивал дед.

– Ой-ой-ой, – заголосил третий невидимый собеседник, – так-таки и дивун! Тут легко можно и до чурика докатиться. Бредит бредун, а это значит башкой окоchureлся, а значит чурик.

– Какая чушь! – То ли взвился фальцетом дед, то ли пробасил писклявый, понять уже было сложно. Голоса стали надрывными и похожими друг на друга. – Ты чушик!

– Сам такой, ерундовец!

– Чересчуристо мажешь, курошлёт!

– Это я-то курошлёт? А сам ты случаем не пропадитапропаудля, заблужака?

– Говорлюка, несносишка, бессмыслявер!

– Ах ты...!

Разгневанный невидимка хотел было выдать что-то совсем уж оскорбительное, после чего обязательно возобновилась бы ссора, но его перебил странник.

– Я бреду, а не в бреду. Все просто, я странник. Иду своей дорогой. Сейчас она привела меня сюда, на этот вокзал.

Голоса умолкли, будто их обладатели пытались осмыслить сказанное. А потом ответил дед.

– Это многое меняет, бредун. Таких давненько не встречалось.

– Как же так, это же вокзал? Здесь должно быть множество путешественников.

– Нет, – был краткий ответ.

Затем тишина.

Странник уже начинал закипать.

– Что значит это нет? Мы просто с Участью идем своей дорогой. Мы хотели бы спросить у вас...

– Нет.

– Я же еще ничего не спросил.

– А мы ничего и не ответили, а если бы ответили, то ответ был бы «Нет!».

– Черт с вами, – раздраженно бросил странник и направился к выходу на перрон, – найду сам.

– Ой-ой-ой, – залепетал самый тоненький голосок, – он найдун, ищун, вызволюн.

Странник остановился, прислушиваясь. Обсуждали его, и совсем с новой, меняющей все дело стороны.

– Нам надо бы помочь ищуну.

– Верно, для того мы здесь и есть.

– Мы решили помочь тебе, раз ты такой из себя ищун-вызволюн. – Это был дед.

Странник вежливо улыбнулся, но раздраженный тон не сменил, потому что чувствовал, что был в своем праве. И ему нестерпимо хотелось разделить под орех болтливых призраков.

– Я даже не знаю кто вы. Если вы собираетесь мне помогать, то вам придется показаться. От инкогнито помощи не принимаю.

В стане невидимок послышался ропот и даже возмущение. Слово «инкогнито» было воспринято явно превратно, нашлись такие, которые даже слегка обиделись. Но по результатам очередного сумбурного обсуждения было решено незамедлительно рассекретиться и представиться перед бредуном-зарвуном.

– Мы – вальдуны, либо, если угодно, босики, лин-лины, вудяшки. Но можешь называть нас просто лёшики.

Участь, все это время мирно посапывающая у раскалённой батареи, очнулась и подала голос, будто приветствуя новых знакомых.

– Нам тоже, – ответил за всех дед, – милая молчаливая гав-гавина. Могла бы сказать своему болтулику, чтобы он поберег свою разговористость для других ушей, глупырят нам слушать не пристало.

С этими словами лёшики проявились. Это были существа, по большей части состоявшие из веток и жухлой листвы, скреплённой влажной землей и глиной. Руками их были лозы, свисавшие по бокам двумя дохлыми змеями, на лицах красовались по два мультяшных глаза, врезанных прямо в компостную мешанину, а также, будто нарисованные несмышлёным ребенком, красные, либо того пуще – алые рты. И пугали они больше всего остального, потому что жили какой-то своею веселой, озорной, неумолчной жизнью, тогда как глаза были мертвы и лишены всякого выражения.

Эти существа налезали друг на друга, проглатывали, тут же быстро выплёвывали в целости и сохранности не возражающего против такого обращения товарища, снова подступались, преграждали путь, обвивали лозами-руками, а потом вся эта череда перевоплощений повторялась вновь, хоть и в другой последовательности, но всё также эти странные компостные кучки, называвшие себя лёшиками, проглатывали, выплевывали, преграждали, обвивали. Как малые дети, подумал странник, которые стремились показаться перед взрослым в самом выгодном свете, а потому оттирали зазевавшихся соседей.

– Здравствуйте, многоуважаемые лёшики, – с чувством проговорил странник. Что ж, это он заявился в чужие владения, поэтому следовало быть учтивым с хозяевами. Какими бы безумными те не казались.

Лёшики на мгновение бросили свою игру, прям замерли. На их карикатурных рожицах промелькнуло удовлетворение – они несказанно обрадовались такому обращению. Видно, никто и никогда не называл их уважаемыми, не говоря уже о много... Не вдарить ли по ним «добрыми хозяевами» для пущего эффекта? Или напустить на них каких-нибудь «милых друзей»? Нет, не стоило. Кто их знает, что у них там на уме. Может, «многоуважаемые» – это в самый раз, а за «милых друзей» кинутся в драку?

– Многоуважаемые лешие, – начал было странник, но, увидев нахмурившиеся рожицы, вмиг осёкся.

– Это кого он лешим обозвал? – спросил самый писклявый лёшик, поигрывая сплетёнными из лозы кулаками. – Я ему сейчас такого лешего пропишу, вовек не забудет.

– Остынь, босик, – примирительно сказал тот, что напоминал деда, – он говорун-неведун.

– Таких неведунунов нам здесь не надо! Притом слова его тяжелее обычного, они у него чересчур претворительные. Чуете, как лешевеете, а? Это всё он. Сейчас же исправься, бредун, а то я за себя не ручаюсь!

Один из лёшиков двинулся на странника, явно намереваясь проучить безалаберного болтуна.

– Конечно-конечно, – засуетился странник, – моя вина. Как же можно таких милых линлинов, самых босовитых из всех босиков, вальданутых лёшиков, лёшиковых вальдунов называть лешими! Глупик я, растяпер!

Троица лёшиков замерла на мгновение, будто оценивая сказанное, а потом взорвалась на разные голоса, продолжив свои игры и ужимки.

– А он совсем не дурупёр, каким хотел казаться.

– Скрытунявый многочёс!

– Уважук! Не меньше. Такие нам нра-нра.

Странник облегченно выдохнул, понимая, что опасность прошла стороной.

– Расскажите, что это за место, доблестные вальдуны, – попросил он, искренне желая знать, что же это за такое место, наполненное выцветшими старинными образами, можно сказать призраками, сошедшими с залитой сепией древней фотографии.

– Это вокзал, что же еще, – ответил дед мрачно.

Ему вторил тонюсенький экзальтированный голосок.

– Вокзал старины, уходячины, непереваренной всячины.

– Каждый очутившийся здесь, заполняет его самим собою ошмётистым, своей стародумностью.

– Мыслегаженье одно, – отрезал лёшик-ворчун.

Кажется, странник понял. Каждый, кто оказывался на этом вокзале оставлял здесь свои воспоминания, тем самым преображая его, если можно так выразиться, настраивал под себя. Так что же, все эти буфетчицы-газетчицы, неугомонные взмыленные дети, их дремлющие на своих вторых подбородках, как на подушечках матери, и остальной провонявший древней прелостью сброд был плодом его воображения? Точнее, памяти. Но он ничего такого не помнил. Он вообще ничего не помнил из своего прошлого.

– Простите, но всё это, – странник деликатно обвел зал ожидания рукой, – не моё.

Лёшики принялись совещаться друг с другом на своём совсем уж непонятном языке.

– Что ж, так оно таково, – мягко вздохнул тот, что средний, став на мгновение чуть женственной собратьев, – это не твои воспоминания, а предыдущего залётика. Вокзал должен был обновиться, но в тебе не так много воспоминаний. Для него совсем ничего нет. Мы могли бы, конечно, настоять на том, чтобы он взял имеющееся, то есть совсем ничего, но тогда нам всем не поздоровится. Пребывать целёхонькими в ничегошеньки нам тутошним и всамделишным совсем не с руки.

– Если так, – согласился странник, – то меня устроит и предыдущий вокзал.

Лёшики возбужденно и облегченно загалдели, наперерыв благодаря его чрезгордостьпеступательство и подуматьтолькокаковблагодарумецотыскательство. Порешили оставить все как есть. Вот только один, самый старший и мудрый, высказал иное мнение.

– А я вижу, что не всё у него там пустит. Что-то на донышке болтается, надо рассмотреть поближе.

Остальные лёшики не стали противиться – раз главный, а это по всему был именно он, сказал, что надо поближе, а тем более рассмотреть, то никто возражать не стал. Странника подвели к стене из металлических дверок. Это были камеры хранения.

– Понаддумай хорошенько, расчувствуй нужную, – многозначительно возвестил дед и торжественно обвел рукой-лозой представленные номерные дверцы, – только не ошибись. Лишь в одной скрыта твоя ерундовая кое-чтовость, а вокруг сплошное ничего. Если вдруг промажешь, то всем нам тут же наступит конец.

Странник подступил к камерам хранения и указал на ту, которая показалась ему самой безобидной. Пускай и были они все одинаковыми, но от этой как-то по-особому... пахло. Да, черт возьми, пахло! Травой, не скошенной, но подвяленной на безжалостном июльском солнышке. А еще тянуло подвальной сыростью. И немного свежеиспеченным хлебом. Запахи были очень знакомыми, не так, будто «ах, все знают, как пахнет хлеб, подвал и трава!», а как что-то свое собственное, будто бы эти запахи были только его и ничьими больше. Они принадлежали тому единственному воспоминанию, которое сохранилось в заветной камере хранения.

– Эта, – коротко оповестил странник о своем выборе.

– Что ж, – не менее лаконично ответил дед.

– Что дальше?

– Открывай.

Странник дернул ручку. Не поддавалась.

– Ко-о-од, – пропел писклявый.

Точно, код. На камере хранения всегда был код. Кто же тебе оставит ценности в незапертом хранилище. Но дело было в том, что странник его не знал.

– Ну же, недопетрик, – посоветовал(а?) средний из лёшиков, – оглядись.

Странник не стал спорить и оглядел старинный зал ожидания в надежде приметить какие-нибудь циферки, вырезанные ножичком на потемневших от времени гнутых деревянных лавках, либо выцарапанных гвоздиком на казённой зеленой стене. Ничего подобного не попало. Лишь пустынный зал, дремлющая Участь и совсем потрепанного вида кошка, приютившаяся на раскалённой батарее. Зачем же, кстати, так топить посреди лета, когда и без того было жарко..., пахло травой, хлебом и подвалом... А может это была вовсе не кошка, а разбойник-кот, который отогревал свои старые натруженные в битве с другими вокзальными котами мослы и не желал ни на что отвлекаться. Но как тут поможет кот?

Лёшики, проследившие куда смотрит странник, заулыбались своими губастыми улыбами, довольно зажмурились и запели стройным хором на три голоса.

– Глядел, глядел, нашёл, нашёл! Ушёл-пошёл-зашёл-нашёл!

Странник взял податливого, и как будто бы ожидавшего этого кота на руки, подошёл к камерам хранения. Как же тут быть, какую выбрать? У него был верный кот, который код, но открой он неправильную дверку, то произойдет нечто ужасное, если верить лёшикам. Проверять не хотелось.

«Миа», – буркнул кот. Прозвучало это лениво и даже как-то презрительно.

– Миа? – не поверил своим ушам странник. – Ты сказал миа? Это «нет» по-кошачьи?

Кот повторил. Ну, точно, ничего кроме «нет» это быть не могло. Брезгливое, раздраженное, надменное «нет!».

Странник перешёл к другой дверце. И тут же прозвучало новое «миа».

Где-то ближе к середине стены из дверок кот уверенно, хоть все также лениво заурчал.

Ты ж мой умник!

Но далее ушастый провидец действовать не хотел. А чего же от него ждал странник? Чтобы кот открыл камеру, набрав верный код? Это уже слишком. А может, это говорящее домашнее, вернее вокзальное, животное? И говорит оно только нужные цифры, и только после того, как попросишь его об этом?

– Ну же, господин кот-код, выдай мне верные цифры, – заговорщицки зашептал на ухо облезлому коту странник. Тот не отреагировал на просьбу. Видно, недостаточно учтиво попросили.

Как бы не так, усач, ты всё у меня выболтаешь! Или вымурчишь! Пора бы тебе начать действовать. А то станет этот день твоим последним беззаботным деньком на горячей батарее. А может, я тебя просто...

Странник не успел даже представить, какую такую действенную кару уготовить для зарвавшегося котофея, как тот неожиданно зашипел и зафыркал. Да-да, на камеру хранения. Более того, он стал колотить об воздух лапой, которая уже не была лапкой милой киски, а стала когтистым орудием убийства.

Да, мой злобный негодун, ласково думал о разбушевавшемся коте странник, так её, эту дрянную камеру хранения! Может, нужно тебя отпустить, чтобы ты разнес её ко всем чертям? А, чудо-юдо рыба кот?

Странник не стал отпускать разбушевавшегося облезлого вояку, но поднёс его ближе к дверце. Кот, дорвавшийся до ненавистного врага, стал яростно бить по кнопочному циферблату. Да так удачно бил, что нечаянно, а может, вовсе не нечаянно, а очень даже специально, набрал нужную комбинацию. Какой-то древний замочек нервно щелкнул внутри металлической стены. Дверка со ржавым скрипом нехотя распахнулась. Внутри было темно. Хотя и заливал осенний безоблачный денёк своим золотистым пыльным светом всё здание вокзала, и было светло и погоже, как в самые памятные дни детства, или как будто горели на потолке тысячи фонарей, но во вскрытой камере было мрачно, словно ни одной частички света, ни одного лишого лучика не могло проникнуть в это унылое царство теней.

Странник беспомощно посмотрел на лёшиков. Те радостно скалились, будто всё шло как надо. Словно не гладела на них жадная до сущего пустота, извечная и не рождённая, но пребывающая в нигде и никогда, и только для того живущая, чтобы вобрать в себя всё живое, к миру материальному приложенное, от него порожденное. Чтобы умертвить, ослепить, заткнуть глотку, иными словами, принести истинную смерть – ту, которой страшнее всего помирать. Когда, вдруг став этим проклятым ничем, будешь вечность и даже чуть дольше, понимать всё и осознавать свою пустячность, а также сковывающую невесомое сердце ничтожность. Страннику стало страшно.

И только храбрый и самоуверенный кот, уже успокоившийся и спрятавший когти, немедленно заурчал, призывая взволнованного и трясущегося от страха человека успокоиться, собраться с мыслями и понять, что истинную пустоту никто никогда не сможет увидеть посредством имеющихся у человека глаз. Потому что глаза эти от мира сего, материального. А увидеть пустоту можно только пустыми глазницами. Одним словом, лишь из ничего рожденное имеет возможность видеть другое ничто. *А раз ты, глупый человек, смотришь в пустоту, то в ней обязательно что-то кроется. Стоит только расширить зрачки – вот так, как я – и всё сразу проявится. Попробуй.*

Тут нечего и пробовать, – зло отвечал своему внутреннему коту странник, – *я не вашего хвостатого рода, чтобы паяться в пустой темный угол, будто там кто-то сидит. Там пусто.*

Миа, – только и сказал внутренний кот.

Тогда нам с тобой не по пути, – подумал странник и, напоследок почесав урчащего мерзавчика за ухом, отпустил кота восвояси.

– Что же там? – спросил лёшик с самым писклявым голоском.

– И то верно, выкладывай, – поддержал его грубым басом другой.

Третий просто застонал от нетерпения.

– Звуки, – только и ответил странник, – кто-то говорит. Но очень тихо, не могу расслышать.

– Всё верно, – настаивал дед, – это потому, что летят они из дальнего далёка. Подкрути приемник, тогда услышишь.

Какой ещё, к лешему, приемник? Это же не радио, чтобы колесики выворачивать, а уши. Они слышат только то, что слышно, а всё, что тише...

Странник прислушался. Стало громче. Как это работало он не понимал. Он мог различить отдельные слова.

«Она... ноги... обхватил и приник... любил её...» И всё в том же духе. Кто-то рассказывал что-то совсем непристойное. Кто-то с ломающимся, срывающимся с детского дисканта до юношеского баритона голосом. Потом начали проступать целые предложения. Странник заключил, что повествование велось о любовных приключениях некой фривольной барышни, которая не постоит за ценой в поисках чувственных удовольствий. А рассказчиком был он сам. Свой голос человек узнает всегда, даже по прошествии многих лет, даже забудь он всё из своей жизни. Это был он – юный рассказчик, с горячностью живописующий о недавно читанных

непристойностях. Ах, если бы тебя услышала мама, что бы она сказала? Ничего. Ведь не для её ушей был тот рассказ, а для дворовых мальчишек, собравшихся кучкой в жаркий летний день и жадно внимавших каждому слову юного фантазера.

Странник моргнул раз, два, на третий он увидел. Это были развалины двухэтажного кирпичного дома, но такого древнего, что его даже можно было назвать руиной. На жестяной завалинке, либо совсем не завалинке, а какой-то непонятной пристройке, укрытой ржавыми жестяными листами, восседала компания подростков. Все они с неподдельным интересом слушали пикантную историю. Затем картинка изменилась – всё посерело, пошел мелкий дождик. Сбившийся в плотную занавесь, он отгородил рассказчика и его единственного верного слушателя от остального мира. Новый рассказ был фантастическим. О чем-то далёком, космическом, недостижимом.

Новая смена, новая локация. Это домик, можно сказать шалаш, какие сколачивают из подручного хлама себе в качестве убежища от надвигающегося на них взрослого мира мальчишки. Называют такие домики «штабиками». Какое верное слово! Из таких очень удобно координировать ход боевых действия против несносной реальности, против злонравной взрослой жизни, безжалостные войска которой всё ближе и ближе подступают к растерявшему все свои детские года юноше. Бывший малыш уже не справляется, понимая, что битву эту никто никогда не выигрывал, и лишь стремится отсрочить поражение. Он рассказывает последнюю свою историю. Но не доводит до конца – разражается гроза, в домик бьет молния. Домик горит. Внутри самый верный слушатель. Тоже горит. Всё превращается в пепел.

Заполненный осенним пыльным светом вокзал начинает тлеть. Будто всё это бумажные расписные обои. Отваливаются от стен почерневшими, обрамленными огненной каёмкой хлопьями. Отрываются, летят через весь зал, сталкиваются с другими такими же, рассыпаются в прах. Вокзал – больше не благообразный дедушка в стареньком, но чистом и отутюженном осеннем костюмчике, а давненько разложившийся труп, скалящийся своей безумной бессмысленной улыбкой. Одежды его – жалкие лохмотья, сами кости его изглоданы, беззащитны, того и гляди готовы рассыпаться под напором всепожирающих ветров времени. Это больше не деревянная хибара, а те самые руины, перед которыми восседал в видении юный рассказчик со своими слушателями.

Бывшие совсем недавно деревянными скамьи покрылись ржавой жестяной коркой, окна подернулись рыжим инеем, и свет уж не заглядывал больше в унылое, преисполненное забвением и тленом здание. Исчез и кот, который код, – на батарее, куда он вновь взгромоздился после того, как его отпустил странник, покоилась кучка свернувшихся клубком косточек. Сейчас скелет кота был в праве послать всех куда подальше. *Дайте уже погреть старые косточки, изверги!* И был бы прав.

– Как же нам будет не хватать прошлого вокзала, – запричитал писклявый лёшик, который вместо того, чтобы быть кучкой прелой листвы, стал бесформенным человечком, покрытым ржавым жестяным панцирем.

– Да уж, в нем жилось мило, – поддержал его ворчливый дед, – а в этом как-то криво.

– Но это только пока, – возразил средний, самый рациональный из всех троих, – мы на то и лёшики, чтобы привыкнуть к любому дому, даже к развалинам.

Лёшики музыкально, в три голоса вздохнули.

– Что ж, – как бы извиняясь за причиненный ущерб сказал странник, – мне надо идти.

– Да-да, – писклявый.

– Ничего не попишешь, – дед.

– Но осталось ещё кое-что, – средний.

Оказалось, что в дальнейшее путешествие можно отправиться только без собаки. На все возражения безжалостные властители вокзала лишь кивали металлическими бесформенными

головами, обещали, что все будет хорошо, никто ничего не отбирает, а нужно только кое-куда проследовать. Тут недалеко.

Пришли скоро, потому что это самое «кое-где» действительно располагалось неподалёку – напротив от стены с камерами хранения. На самом деле это была еще одна камера хранения, но побольше, с массивной дверцей в половину человеческого роста. Располагалась она совсем низко, так что пришлось нагнуться, чтобы открыть её. Сам бы странник ни за что не сделал это – открывать эти чертовы камеры себе дороже, но вот лёшики настояли. Мол, последнее плёвое дельце, ибо туда – куда это туда? черт их знает – вот так, как есть сейчас, нельзя, а надо по-другому.

– Да скажите вы, наконец, что вам от меня нужно?! – вскричал странник, но без злобы, а только для того, чтобы направить размышления бестолковых местных обитателей в нужное русло.

– Конечно, конечно, наш несдержанный друг, – ответил за всех дед, – всё просто, с животными – ни-ни.

Странник всё еще не понимал.

– Нужно оставить собаку здесь. И лучше тебе послушать нашего совета, потому что в ином случае всё пойдет не так, как того хотелось бы.

– Хотелось бы кому?

– Тебе, кому же ещё. Всё для удачного завершения путешествия. Для того вокзалы и существуют. Это обереги, охраняющие путников.

– А я-то думал с них просто уезжают, – недоверчиво буркнул странник.

– И это тоже. Но как же в дороге без удачи? Вспомни сколько бед тебя постигло пока ты шёл к нам.

– Да не беды это были вовсе... – Странник в нерешительности замялся. – Со всем справился.

– Со всем он справился, – подхватил писклявый лёшик, – поглядите вы на него. А вот если бы от вокзала отчалил, так и того не встретилось бы. Поспорим?

– Нет уж, не охота мне с вами спорить. Но куда девать Участь?

– Твоя участь никуда не денется, просто изменится.

Лёшики все вместе разом грохнули об пол металлическими отростками, которые заменяли им правые ноги. Тут же, как по команде, распахнулась та самая камера хранения. Она была для собаки, понял странник. Нужно завести её туда, и оставить. Чудовищно!

А ничего другого вы не хотите, безумные железяки?

Но вслух сказал иное.

– Как же она там будет? Она ведь...

– С ней всё будет хорошо, – успокоил средний из лёшиков, и его спокойный сдержанный голос внушал доверие, – ваша Участь останется при вас, но, кхм, в несколько измененном виде.

– Как это?

– Доверьтесь нам, и просто заведите её внутрь. – Металлическая клешня услужливо указала в направлении, куда требовалось отправить его старенькую, верную, можно сказать, героическую собаку. Да нет же, не собаку вовсе, а самую настоящую спутницу, друга. А эта тупая железка, этот проклятый босик, лёшик, или как бы его сейчас ни звали, предлагал запереть в темной, душной, камере живое существо. Запереть на погибель, ибо никому не удастся выбраться из такого безнадёжного узилища. И смерть несчастной пленницы будет мучительной и долгой – от голода и жажды, от нехватки воздуха, от духоты и страха. Участь не заслужила такого обращения. Только не так! И если другого пути не было, то к чёрту такое место назначения, ради которого надо было пожертвовать другом. Странник перестанет быть странником, и просто останется до последнего дня со своей милой старушкой, а ей уж недолго ковылять по железной дороге. Да уж и некуда. Поэтому они просто усядутся посреди мрачных развалин,

странник опять превратится в рассказчика, станет расцвечивать всё кругом забавными фантазиями, может даже приведет это негостеприимное место в порядок. А потом случится то, что отсрочила ящеричная таблетка – спасибо тебе, Ярвор, – и он останется один.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.